



ЭТНО МЕТОДОЛОГИЯ

*проблемы
подходы
концепции*

7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И НАТУРАЛЬНЫХ НАУК

Этнология * 7

Этнология

problems, approaches, concepts

Volume 7

Moscow 2000

РНБ RUSSIAN MINISTRY OF CULTURE
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

Ethnomethodology: problems, approaches, concepts

Volume 7

Moscow 2000

Редакторы-составители

А.А. Пископелъ

В.Р. Рокитянский

Л.П. Щедровицкий

Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 7.

Сборник статей. - М., 2000. - 128 с.

ISBN 5-86443-068-4

В седьмом выпуске сборника «Этнометодология» продолжается теоретико-методологическое обсуждение ряда тем, ставших сквозными для всей серии: значения и места этнических феноменов в жизни общества, проектного смысла этнических идеалов, традиций и традиционализма, этничности и социализации, образования в условиях полиэтничного и мультикультурного общества, а также информационного подхода и связанных с ним информационных технологий.

In the seventh issue of "Ethnology" the theoretico-methodological discussion is continued of a number of topics which have become permanent for the whole series: the role and place of ethnic phenomena in the life of society, the project meaning of ethnic ideals, tradition and traditionalism, ethnicity and socialization, education in polyethnic and multicultural society, as well as informational approach and informational technologies linked to it.

Содержание

От редакторов-составителей	7
<i>А.А.Пископфель</i>	
Осевая реальность этнического пространства	12
<i>А.А.Пископфель, В.Р.Рокитянский, Л.П.Щедровицкий</i>	
Национальная школа в РФ: состояние, проблемы и перспективы образовательной реформы	28
<i>В.Р.Рокитянский</i>	
Околотрадиционные заметки	55
<i>С.В.Соколовский</i>	
Вещность и власть в обыденном сознании (автоэтнографические этюды)	70
<i>Г.А.Вучетич, А.А.Пископфель, Л.П.Щедровицкий</i>	
Информация, информационная среда, информационное общество	109

Contents

Editors' Foreword	7
<i>A.A.Piskoppel</i>	
Axial reality of an ethnic space	12
<i>A.A.Piskoppel, V.R.Rokitiatsky and L.P.Schedrovitsky</i>	
The national school in the RF: state, problems and prospects of the educational reform	28
<i>V.R.Rokitiatsky</i>	
Notes around Tradition	55
<i>S.V.Sokolovski</i>	
Authorities and the power of things (auto-ethnographic essays)	70
<i>G.G.Vuchetitch, A.A.Piskoppel and L.P.Schedrovitsky</i>	
Information, informational environment, informational society	109

От редакторов-составителей 7

Освежающая роль этнографических исследований в развитии этнологии
А.А.Пископов, М.Я.Лазаревская 12

Национальная школа в РФ:
А.А.Пископов, В.Р.Рокитанский, И.И.Шибрелевский 28

Проблемы и перспективы образовательной реформы
В.Р.Рокитанский 32

Околограничные земли
С.В.Соловьевский 40

Вместе и врозь в объединенном пространстве
(этнографические этюды) 48

А.А.Пископов, М.А.Лазаревская, И.И.Шибрелевский
Информационная среда, информационное общество 100

Contents

Editors' Foreword 7

A.A. Piskopov
Axial reality of an ethnic space 12

A.A. Piskopov, V.R. Rokitskiy and I.R. Scherbavitskiy
The national school in the RF:
Problems and prospects of the educational reform 28

V.R. Rokitskiy
Notes around Tradition 32

S.V. Solov'yevskiy
Together and apart (ethnographic essays) 40

G.G. Vitshetich, A.A. Piskopov and I.R. Scherbavitskiy

Прежде чем представить содержание статьи предлагаемого седьмого выпуска сборника «Этнометодология: проблемы, подходы, концепции», представляется нелишним напомнить читателю об общей смысловой и идейной направленности серии – тем более, достаточно подробно об этом шла речь лишь в предисловии к самому первому сборнику, выпущенному в 1994 г. Стоит, в частности, еще раз объяснить, почему было выбрано такое название серии – «Этнометодология», хотя к одноименной социологической дисциплине, занятой проблемами изучения общезначимости структур обыденных побуждений и поступков людей, т.е. к «социологии обыденной жизни», эти сборники никакого прямого отношения не имеют.

Дело в том, что по авторитетному признанию самих этнометодологов от социологии «несмотря на включение этого термина в само название дисциплины, этнометодология не является и не должна считаться методологией в том смысле, в каком этот термин применяется ко всем существующим традиционным социологическим методологиям» (Новые направления в социологической теории. М., 1978. С. 366). Мы же, выбирая это название, хотели подчеркнуть, что речь в этой серии сборников будет идти именно о «методологии», причем не в формальном, как она трактуется «традиционными социологическими методологиями», а в содержательном смысле – т.е. в той ее ипостаси, которая представлена в ряде направлений отечественного методологического движения, так или иначе связанных с московским методологическим кружком (ММК). В содержательной же интерпретации к этнометодологическим следует отнести прежде всего те метапредметные теоретические разработки, которые направлены на изучение концептуальных предпосылок современных теорий этногенеза (критика и обоснование, регулятивные принципы и онтологемы и т.д.) и на сами способы ассимиляции феномена этнического в современной обществен-

Before presenting the contents of the texts comprising the 7th issue of the “Ethnomethodology: problems, approaches, concepts” it seems useful to remind a reader of the general sense and intention the series as a whole – the more so as this was spoken about more or less in details only in the foreword to the 1st issue (1994). In particular, it is worth explaining once more why this very title, “Ethnomethodology”, was chosen for the series though it has no direct relation to the sociological discipline of the same name engaged in studying generality of structures of everyday motivation and behavior, i.e. to the “sociology of everyday life”.

The point is that (as sociological ethnomethodologists themselves acknowledge) “in spite of the fact that this term is incorporated into the very name of the discipline ethnomethodology is not a methodology in the sense in which this term is applied to all existing traditional sociological methodologies” (New trends in sociological theory. Moscow, 1978. P. 366). As for our choice of the title, we wished to stress that the books of series will treat just the “methodology”; that it will be methodology not in a formal sense, as it is treated by “traditional sociological methodologies”, but in a substantial sense, i.e. the variety which is represented in some schools of the Russian methodological movement which are in some way connected with the so called “Moscow Methodological Circle”. Ethnomethodology in this sense includes “metasubject” (i.e. transgresssing subject division) enterprises which are aimed at the investigation of conceptual presumptions of modern theories of ethnogenesis (critique and substantiation, regulative principles and ontologemes etc.), at the very ways of assimilation of the phenomenon of the ethnic within the modern social life and

ной жизни, и те теоретические концепты, которые выступают в роли обеспечивающих ее методологических средств.

Именно они, преимущественно, и освещаются в статьях, помещаемых в сборниках нашей этнометодологической серии.

В настоящем сборнике представлены как результаты дальнейшей разработки вопросов, уже поднимавшихся в работах предыдущих выпусков серии, так и статьи, обсуждающие смежные и стимулированные этими работами проблемы.

А.А.Пископел в статье «Осевая реальность этнического пространства» обсуждает концептуальные возможности истолкования «этнического» в качестве идеала организации общественной жизни. На основе «витальной» объектно-онтологической интерпретации содержания понятия «этнос» анализируются логические и исторические предпосылки рассмотрения «этнического как проекта». Демонстрируется, что подобная интерпретация этнической реальности и в ее конкретно-историческом обличии, и в ее идеальных устремлениях заставляет рассматривать ее как амбивалентное начало, что выражается в признании ее, с одной стороны, в качестве одной из базовых форм организации современного человеческого общежития, а с другой – в отрицании за ней идеалосообразного характера для современного мирового сообщества.

Вводится различие субэтнического и надэтнического подпространств этнической реальности, и надэтническое подпространство рассматривается в качестве осевой реальности самого этнического пространства. В таком различии субэтническое пространство есть пространство реализации культурно-почвеннических ценностей, а надэтническое – культурно-цивилизационных ценностей.

Рассмотрение взаимоотношения этих подпространств через призму категорий естественного/искусственного позволяет артифицировать возникающие здесь проблемы как усилия, направленные на создание таких связей и отношений между ними, которые

at those theoretical concepts that come to be means ensuring this assimilation.

It is this kind of questions that are mainly discussed in articles published in the books of our ethnomethodological series.

The new issue presents both the results of the further investigation of the questions that have already been raised in the previous issues of the series and articles wherein the problems adjacent to and provoked by the former publications are discussed.

A. A. Piskoppel in his article "Axial reality of an ethnic space" discusses conceptual possibilities of using "the ethnic" as an ideal form for organization of social life. On the basis of a "vital" object-ontological interpretation of the content of the concept of "ethnos" logical and historical preconditions for considering "the ethnic as a project" are analyzed. It is shown that such an interpretation of ethnic reality both in its concrete historical form and in its ideal aspirations compels to consider it as something ambivalent which means on the one hand to see in it one the basic forms of modern social life organization while on the other hand to deny it the ideal-posing character for the modern world community.

A distinction between subethnic and superethnic subspaces of ethnic reality is introduced, and a super ethnic subspace is considered as an axial reality for the ethnic space as such. Within this distinction a subethnic space is a space where values of cultural "soil" are realized while a superethnic space is a space for cultural civilizational values realization.

The relations between these subspaces being considered using categories of natural/artificial it is possible to artificialize the appearing problems and to see in them efforts aimed at creating such connections and relations between them which

обеспечивали бы диссоциацию цивилизационных и почвеннических ценностей и потребностей и «возгонку» первых в осевую реальность этнического пространства.

В статье А.А.Пископеля, В.Р.Рокитянского и Л.П.Щедровицкого, посвященной проблемам «национальной школы» в России, эти проблемы и перспективы их решения рассматриваются на материале анализа изменений, происходивших в области национального образования в последнее десятилетие и в контексте осуществляемой в настоящее время образовательной реформы. Отдельное внимание авторы уделяют обсуждению и прояснению ключевых понятий, relevantных этой проблемной области, таких как «национальная школа», «национальная культура», «возрождение и развитие национальной культуры», «образовательные права», базовым принципам и идеалам образовательной реформы, критическому анализу декларируемых и реальных целей и перспектив развития школы в «национальных» регионах, разбору программных документов образовательной реформы. К статье прилагается описание возможной структуры базы данных «Национальная школа», которая, как считают авторы, могла бы стать базовым инструментом, способным интегрировать информационно-аналитическое обеспечение образовательной политики на федеральном уровне и уровне федерального округа, с демонстрационными образцами возможного заполнения некоторых ее разделов.

«Околотрадиционные заметки» В.Р.Рокитянского продолжают обсуждение темы традиции и традиционализма, начатое в работе «Мир традиций. 1. Традиция: строение и метаморфозы» (Этнометология. Вып. 5, 1998). Настоящая публикация включает два небольших очерка. Первый из них, «Созерцание и деятельность», представляет собой своего рода вариации на тему первого из «Тезисов о Фейербахе» К.Маркса; речь идет о двух жизненных установках, определяю-

would provide for dissociation of civilizational and “soil” values and for sublimation of the former to the axial reality of the ethnic space.

In the article by A.A.Piskoppel, V.R.Rokitiatsky and L.P.Schedrovitsky which is dedicated to problems of the “national school” in Russia the discussion of these problems and of the prospects of solving thereof is based on the results of analysis of changes that have been taking place in the realm of national education in the last decade and takes into account the context of the educational reform now in progress. Special attention is given to the key concepts relevant to this problem area, such as “national school”, “national culture”, “rebirth and development of a national culture”, “educational rights”, as well as to the basic principles and ideals of the educational reform, to critical study of the school development goals and prospects in the “national” areas, both declared ones and real, to analysis of the program documents of the reform. The Supplement contains a description of possible structure of a database “The National School” with demonstrational samples of data for DB sections which, according to the authors, could become a basic instrument capable of integrating the information-analytical policy both on the federal level and on the level of a federal district.

“Notes around Tradition” by V.R.Rokitiatsky continue the discussion of the topic of tradition and traditionalism started in “The world of traditions. 1. Tradition: the structure and metamorphoses” (Ethnomethodology. 5th issue. 1998). The present publication includes two small essays. The first one, “Contemplation and activity”, is a kind of variations to the theme of the first of the “Theses on Feuerbach” by K.Marx; two vital attitudes which determine, corre-

щих, соответственно, два человеческих типа – созерцателя и деятеля, и о том, как эти установки соотносятся с оппозицией сакрального и профанного. Второй посвящен педагогической ценности заучивания наизусть сакральных и иных пожизненного значения текстов. Он назван по-английски – «Learning by heart» – ради заключенной в английском выражении многозначительной метафоры сердца.

Сообщение С.В.Соколовского «Вещность и власть в обыденном сознании» строится главным образом на реконструкции собственных столкновений автора с властями и вещами в начале и середине 60-х годов в период, когда ему было пять-десять лет. Жанр автоэтнографии выбран как один из способов преодоления некоторых парадоксов и проблем полевого этнографического исследования. Рассматривая эпизоды травматических столкновений с властью взрослых, автор пытается оценить проявления власти не столько в ее объективированных формах позитивных и негативных санкций, сколько в субъективном переживании ее как страха и возникающих из этого переживания тактик избегания и ухода. Материалы «густых описаний» с позиции аборигена используются для критики концепций власти и личности в социальных науках.

В статье Г.Г.Вучетич, А.А.Пископпеля, Л.П.Щедровицкого «Информация, информационная среда, информационное общество» обобщены результаты теоретико-методологического исследования существующих подходов к понятию «информации» и проведена критика подходов, игнорирующих различия между «духовными значениями» и «информацией». На основе проведенного анализа предложен ресурсный подход к разработке теоретической схемы взаимоотношений основных «информационных качеств» (репликативности, транспортабельности, конвертируемости, концентрируемости, сохраняемости и т.п.), определяющих значение инфор-

respondingly, two human types – the Contemplator and the Actor, are discussed as well as the correlation of these attitudes with the opposition of sacred and profane. The second one is dedicated to educational value of learning by heart of sacred texts and other texts of life-through importance. It is given an English title, “Learning by heart”, for the sake of the meaningful metaphor of heart present in the English expression.

Experimental ethnographies are still rare in Russian anthropology, and the intriguing possibilities of self-ethnographic accounts from the “native”s” point of view remain largely unexplored. S.V.So-kolovski, the author of “Authorities and the power of things (auto-ethnographic essays)”, reconstructs his own childhood experiences of socialization into the adult world of power relations, dating back to early 1960s and taking place in south-western Siberia. The reconstruction is used to illuminate contemporary theories of power and thing-ness and to provide unique local perspectives, which run counter to generalization drive of still predominantly positivistic Russian social sciences.

“Information, informational environment, informational society” by G.G.Vuchetitch, A.A.Piskoppel and L.P.Schedrovitsky presents a generalization of the results of a theoretico-methodological study of the existing approaches to the concept of “information” and a critique of those approaches which ignore the difference between “spiritual meanings” and “information”. A resource approach based on this analysis is proposed for development of a theoretical scheme of interrelations between the main “informational properties” (replicativity, transportability, convertibility, concentration ability, conservability etc)

мации как ресурса особого рода. На основе предложенного подхода пересмотрено взаимоотношение ряда базовых понятий информационных моделей принятия решений. Обосновано утверждение, что с родовидовой точки зрения такие понятия как «сбор», «переработка», «транспортировка» и т.д. информации являются видами своего рода «производства», различающимися лишь тем что таким образом «производится» (объединение, оформление, перемещение и т.д.) и, поэтому, наряду с ними не может быть никакого такого специально-го вида инфодеятельности как «производство информации».

whereby the value of information as a kind of resource is determined. Following the approach proposed the interrelations within a group of basic concepts used in the informational models of decision-making are revised. It is stated that from the genus-species point of view such concepts as "collection", "processing", "transportation" etc. of information are varieties of a kind of "production" differing only in what is being "produced" (a collection, a form, a move etc.) and that there cannot be any special kind of informational activity such as "production of information".

А.А.Пископтель

Осевая реальность этнического пространства

1. Едва ли не каждый день мы встречаем слова «этнос» и «этничность» (с их многочисленными производными) на страницах печатных изданий. Они звучат по радио и с экранов телевизоров. Без них не обходится ни речь политического деятеля, ни дискуссия по современным общественным проблемам. Они настолько на слуху, что трудно представить себе время, когда их редко можно было встретить не только в газетах, но даже и в научной литературе, хотя это и было совсем недавно ¹:

А между тем ни этнография, в которой они впервые получили права гражданства, ни другие культурно-антропологические дисциплины не совершили за это короткое время никаких эпохальных «открытий», которые бы оправдывали столь быстрое и радикальное смещение интересов «антропологического» сообщества к так называемым этническим феноменам и утверждение проблематики, связанной с ними, в качестве ведущей и приоритетной в этих областях научного знания. Но если поиск причин такой переориентации в рамках самой науки представляется малоперспективным, то переключение внимания с «внутренних» для нее процессов на «внешние» гораздо более оправдан. Оправдан прежде всего той необыкновенной быстротой, с какой идея этнического овладения «массами», массовым сознанием.

Вряд ли приходится сомневаться в том, что перед нами вполне определенная реакция на глобальные социокультурные процессы, происходящие в современном, прежде всего западном (в широком смысле этого слова), обществе. Реакцией на эту реакцию прежде всего и является, на наш взгляд, упомянутое смещение интересов и появление целого куста теорий этноса и этничности, в которых по разному запечатлены установки бытующих в современной этнологии подходов – от примордиалистского до постмодернистского, модернизирующих и осовременивающих содержание понятия этнос. Имея в виду эту связь и отправляясь от нее как от своей исходной точки мы, в свою очередь, предполагаем здесь обсудить смысл и значение проблематики этноса и этничности с позиций более общего подхода и под тем углом зрения, который ему близок при освоении социокультурных явлений ².

С позиций этого подхода начать следует с той озабоченности, которую демонстрирует нам массовое сознание своим обращением к этническому. Вряд

¹ «Интеллектуальная история термина “этничность” довольно коротка: до начала 1970-х годов он редко упоминался в антропологической литературе, а университетские учебники не содержали его определений и не включали в терминологические указатели» (Соколовский 1995: 91).

² Этот подход чаще всего именует себя «методологическим». Здесь не место для обсуждения методологического подхода как такового. Достаточно полное представление о нем можно получить обратившись к журналу «Вопросы методологии» (1990-1999). В концентрированном виде его исторические и концептуальные предпосылки обсуждаются в работе (Пископтель 1998).

ли подлежит сомнению, что перед нами озабоченность самой динамикой исторических перемен и связанной с ними *неопределенностью будущего*, появлением конкурентности в традиционно гарантированных сферах общественной жизнедеятельности (в постсоветских странах осложненное сужением социально-гарантированных условий жизни), всеобщим усложнением и неоднородностью коммуникативных связей и отношений, сужением и исчезновением дистанции между «своим» и «иными» социокультурными мирами и появлением из-за этого «барьеров» внутри традиционно «своего» ареала жизненного пространства и т.п.

Характерно, что выразилась эта озабоченность в реакции вполне определенно *отрицательной*, так сказать *ретроградной*. Ее ретроградность наглядно символизируется уже хотя бы тем, что понятие, традиционно использовавшееся в этнографии в основном по отношению к экзотическим и архаическим сообществам, чудом сохранившимся в современном мире, стало едва ли не основным для описания, объяснения, предсказания и т.п. самых что ни на есть современных общественных процессов и явлений. Складывается впечатление, что во многом и для многих оно стало своего рода социально-политической панацеей, с помощью которой надеются исцелить язвы современной цивилизации. А это значит, что вольно или невольно понятия этноса и этничности оказались мобилизованными для выполнения не столько *когнитивной*, сколько *прожективной* функции (и не только для массового сознания). С их помощью и в них пытаются зафиксировать тот общественный *идеал*, который был бы способен направлять и регулировать современные социальные процессы. И лишь затем уже, в свете такого идеала (т.е. в рамках определенной идеологии), пытаются описывать (абстрактно-теоретически или конкретно-эмпирически) «этническую реальность», т.е. предметно ее «идеализировать».

В свете такой перспективы представляется оправданным сначала обратить внимание на содержание идеала, пытающегося узнать и выразить себя через категорию этнического. Само собой разумеется, что этот идеал по-разному (и для разного) выражен у его энтузиастов, так же как по-разному он представлен в тех или иных горизонтах массового сознания. Но мы не будем здесь заниматься выявлением и даже обобщением многообразных фактически бытующих представлений о нем, ибо нас интересуют здесь его *предельный* смысл и то, лишь мыслимое (утопическое), состояние человеческого общежития, которого можно было бы достигнуть при воплощении такого идеала. А в качестве отправной точки воспользуемся результатами работы, в которой сделана попытка проинтерпретировать «этническое как проект»: предложить модель человеческой общности, которую можно было бы в каком-то смысле отождествить с этнической (*Рокитянский* 1995).

Мы будем исходить из предположения, что как такой заведомо положительный идеал этническая форма человеческого общежития может рассматриваться по крайней мере в качестве попытки «проектного осуществления таких высокопродуктивных, с точки зрения идеалосообразности, начал, которые ле-

жат в основе *делового коллектива, семьи и конфессии»* (Рокитянский 1995: 84). Следуя за этими благими намерениями, попытаемся определить куда они способны нас привести.

Что же это за начала, которые могут (по Рокитянскому) определить качественные особенности этнического как идеала?

- Этническая общность обладает качеством делового коллектива: *свободно* объединять (обеспечивать единство) его членов вокруг и на основе совершения их общего дела³.

- Этническая общность обладает качеством семьи: объединять (принимать) своих членов *безотносительно* к их заслугам и достоинствам, т.е. всегда и вне зависимости от обстоятельств (в силу родственности – принадлежности роду).

- Этническая общность обладает качеством конфессии: объединять людей на основе *веры* в открытость ее членам абсолютной *истины*.

Итак, этот идеал представляет нам желательную форму человеческого общежития, в которой все заняты одним общим делом, принадлежат одному роду и разделяют одну веру. Буде такой идеал достигнут в нем окажутся реализованными фундаментальные потребности человека и достигнута совершенная форма человеческого общежития.

И действительно, перед нами совершенная гармония, в которой ничто не разделяет людей, принадлежащих к такой идеальной общности. Вопрос лишь в том: существуют (мыслимы) ли вообще такие единое дело, единые род и вера и если существуют, то в какой мере они могут объединить на своей основе исторические этносы? Или, другими словами, мыслимо ли человечество как единый род, объединенный одним делом и разделяющий одну веру?

Всякий идеал отличается от грезы и мечты (как самодостаточных идеальных сущностей) особое отношение к «реальности». Он призван так или иначе выполнять по отношению к ней *регулятивную функцию*, воздействуя на эту реальность, подправляя и направляя ее по возможности *в сторону идеала*. Другими словами, он призван исправлять и преобразовывать уже существующую реальность и, значит, в первую очередь и по преимуществу реальность «этническую». Какова же эта реальность как наличное бытие, в отличие от самого идеала?

2. Как известно, существует множество истолкований феномена этнического, как и широкий спектр точек зрения на содержание понятия этнос. Начиная с тех, где этнос является субстанциональным началом человеческой жизни как таковой, корневой общностью, в одной из которых должен быть «прописан» каждый человек, поелику он человек, и кончая теми, где он трактуется как политико-идеологическая фикция и продукт ее реификации. Первая точка зрения так или иначе ассоциирована с теокультурным истолкованием природы эт-

³ «Всякий отрезок жизни сообщества или его части может быть представлен как дело, а совокупный исполнитель этого дела как коллектив... Сквозные принципы коллективообразования – это, очевидно, кооперация и разделение труда – принципы, в соответствии с которыми “конечное дело”, т.е. задачи, решаемые сложноорганизованным сообществом, предстают как результат интеграции частных задач, решаемых составляющими этого сообщества» (Рокитянский 1995: 79).

нического, а вторая – с постмодернистскими взглядами на природу этносоциальной реальности.

Для нас в равной мере неприемлемы обе крайности, хотя в феноменологическом плане каждая из них выражает и абсолютизирует вполне реальные особенности этнических феноменов. На наш взгляд, этносы и этническое вполне реальны, но это – исторические образования, скорее функционального, нежели субстанционального толка. А это значит, что в конечном счете не существует раз и навсегда заданных определенностей, конституирующих этносы и определяющих этничность его представителей, а в роли этнообразующих факторов в разных исторических контекстах и на разных этапах исторического развития общества способны были выступать (и выступали) и самые различные социо-тео-культурные начала (общность начал) и отношения: языковые, культурные, религиозные, историко-генетические, потестарные, территориальные и т.п.⁴ Если отправляться от подобных формально-онтологических предпосылок, то можно наметить несколько черт картины этнической реальности.

Начнем с самого глобального уровня интеграции такой популятивной реальности. Изначально этнос является сообществом, так или иначе ставшим «обществом» – т.е. *относительно независимым и самодостаточным общественным целым, способным самовоспроизводиться, т.е. обрести свою историю*⁵. Интегративный субъект, представляющий такое целое, может быть отождествлен с разными действующими лицами исторических дисциплин – от первобытно-родовой общины до народа. Для этого, в общем случае, подобное «общество» должно на протяжении длительного исторического периода быть достаточно изолированным (прежде всего географически) от других обществ-этносов, что предполагает существование автохтонного, коренного местобитания. Вполне очевидно, что в новой истории подобное условие заведомо не выполняется и этногенез практически невозможен.

Сложность эмпирического выделения и анализа этносов как в исторической перспективе, так и в современном мире связана как с их исторической динамикой, так и исторической инертностью. Этносы, при таком их понимании, зарождались, складывались, сливались и поглощались, делились и т.п. и каждый раз это происходило по разному (на разных основаниях). Однажды сложившись в качестве субъекта исторической жизни, этносы приобретали определенную социальную «массу» и свойственную им инерцию сохранения, независимо от их последующей исторической судьбы как «обществ». Будучи включены в надэтнические образования, поглощая другие этносы или сливаясь с ними, они становились парэтносами, так или иначе сохраняя связь с родовым этносом-обществом, хотя эта связь *объективно* могла становиться все более и

⁴ Эмпирический опыт социально-этнических дисциплин с убедительностью продемонстрировал отрицательный результат поисков субстанциальных этносов. Это всегда плод квазимифологического конструирования скорее идеологического, нежели научного толка.

⁵ Протяженность этого исторического времени сама является производной от социальной динамики и всегда относительна.

более условной. С одной стороны, теряя на каждом повороте исторической судьбы те или иные исходные начала общности, они, с другой стороны, способны были и приобретать новые, образуя своего рода паразитические «матрешки».

На уровне интегративного субъекта подобное становится возможным, во-первых, именно вследствие его функциональности – благодаря тому, что в роли символа паразитического единства способна выступить любая определенность, первоначально свойственная родовому этносу-обществу, если она является дифференцирующим признаком в отношении окружающих этносов (параэтносов), а во вторых, за счет осознания исторической (реальной или мифологической для этнического телоса) и генетической (также реальной или мифологической) преемственности (т.е. при этнически окрашенном общественном сознании)⁶.

В свою очередь, на другом полюсе общественной жизни, подобный этнический трансферт обеспечивается на индивидуально-личностном уровне механизмом этнической идентификации и предметным ее выражением – этническим сознанием, воспроизводящим этот механизм на всех уровнях – от семейно-родового до политико-идеологического, поставляющих для него свои этноконструкты⁷.

Формирование паразитической идентичности составляет неотъемлемую сторону становления самообраза современного человека, в ходе которого его компоненты обретают полноту «психических комплексов» и складывается полнообъемная структура человеческого *проживания*, *смысловое единство поведения и переживания* (т.е. единство интеллектуального и аффективного содержания)⁸. Этот самообраз складывается изначально бессознательно, путем усвоения определенного культурно-антропологического прототипа и становится способом организации, поляризации и канализации эмоционально-энергетических ресурсов становящейся личности. Психологической подосновой для подобного *культурно-этнического импринтинга* становится механизм «катексиса», связывающий и закрепляющий положительные аффективные переживания со «своими», а отрицательные с «другими» в процессе освоения и присвоения транслируемого родовой общностью (в основном семьей) *образа жизни*, разделяемого с тем или иным объемлющим сообществом, с его паразитичес-

⁶ Как подобное вообще возможно, если с чисто объективистской точки зрения историческая судьба этнических субъектов зачастую напоминает известную лингвистическую игру по превращению мухи в слона путем изменения на каждом шаге всего одной буквы (муха – мура – ... – стон – слон)? Очевидно, только в том случае, если основная характеристика этноса-общества как исторического субъекта – *самодостаточность* – способна следовать за его исторической судьбой и ассоциироваться с любым дифференцирующим признаком общности. Т.е. становиться сугубо духовным символом самодостаточности – идеей самодостаточности, становящейся культурной парадигмой в отношении этнического телоса в процессе его социокультурной «виртуализации».

⁷ Этот механизм обеспечивает «замыкание» паразитноса, позволяющее ему транслироваться в качестве обособленной социокультурной системной целостности, социальной организованности.

⁸ Отметим, что «потребность в принадлежности» в некоторых психологических школах (в частности, в гуманистической психологии) причисляется к базовым человеческим потребностям.

кой историей⁹. Как таковой образ жизни всегда отмечен как определенной степени универсальности, так и уникальности и вписан в тот или иной культурно-исторический контекст. В той мере, в которой соответствующие жизненные переживания человеком субстанционализируются, они и становятся содержанием «чувства идентичности».

Таким образом, паразтносы и этничность являются своего рода «композирами» – сложными естественно-искусственными (ЕИ) образованиями, которые заведомо не могут быть полнообъемно описаны с помощью элементарных оппозиций (объективное–субъективное, реальное–идеальное, духовное–вещное и т.п.). По отношению к ним они выступают как воспроизводящиеся социокультурные полисистемы, как их устойчивая (взаимодополнительная) ЕИ-связь между собой.

3. Историческая динамика этнических сообществ, изменчивость их контуров, естественно-искусственная «природа» этничности не могли не стимулировать попыток перекарройки карт существующей этнической реальности. Мировая история, прежде всего древняя, но в той или иной степени и новая, не раз демонстрировала, к чему приводило желание достигнуть такого идеала непосредственно и напрямую, так сказать «в лоб». Конечно, такого рода попытки непосредственно не преследовали и не могли преследовать цели установления мировой гармонии для человечества в духе современных гуманистических идеалов, но создание нового миропорядка предполагалось, а значит и реализация «за его спиной» того, что выше рассматривалось в качестве «этнического» как идеала.

Одни из таких попыток, с известной (и весьма высокой) степенью условности, можно рассматривать в качестве попыток реализации подобного идеала, предпринятых «со стороны дела», а другие, «со стороны веры». Со стороны дела – это прежде всего попытки создания мировых империй (или квазиимперий), а со стороны веры – мировых религий. Среди как тех, так и других можно найти варианты попыток достигнуть такой цели и «силовым», и «мирным» путем. Немало было и попыток так сказать «комплексного» решения этого вопроса.

Силовые способы достижения гармонии «со стороны дела», какими бы благими намерениями они не прикрывались, выливались в усилия тотального

⁹ «Генетическая связь этничности, этнической идентификации с «семейной» парадигмой, с социокультурным архетипом «родные – чужие», проступающим через многие, если не через все традиционные, мифопоэтические культурные корни исторических сообществ, вряд ли подлежит сомнению. Исторически с проекцией архетипа «родные – чужие» на эту этническую карту, возникавшей в процессе освоения индивидом образа жизни (его образования) той общности, к которой он принадлежал в силу самого факта рождения, напрямую связаны этническая идентификация и становление такой ее базовой компоненты как «чувство идентичности». Своего рода превращением (метаморфозом) этого архетипа в архетип (поляризацию) «свои – другие» мы обязаны, при всех приличествующих здесь оговорках, общественному прогрессу, его цивилизующему влиянию, воплощенному в идеях и практике нового мирового порядка. Ему мы обязаны правом «быть Другим» (Пископель 1998: 55)

поглощения одним из этнических сообществ (со всеми оговорками, необходимыми для признания их этническими в вышеозначенном смысле) всех других – или чисто физически, или духовно, или духовно-физически. Все другие этнические сообщества вполне или невольно рассматривались либо как подлежащие поголовному уничтожению, либо в качестве поставщика человеческого материала для его этнической перелицовки¹⁰. Но все они, по крайней мере в масштабе мирового порядка, оказались исторически обреченными, и скорее всего потому, что исходили из одной, простой как мычание, предпосылки – признания единственно достойными права на жизнь своего дела, своего рода и своей веры и отрицания права на жизнь всех других как нарушающих эту гармонию.

Не более успешными в итоге оказались подобные же усилия созидания мировых религий (идеологий) и достижения таким образом и на этом пути мировой гармонии. Ни насильственное обращение в свою веру, ни миссионерская деятельность не смогли обеспечить так называемым мировым религиям (идеологиям) духовной монополии. Еще менее успешными оказались попытки создания новых мировых религий (идеологий) путем чисто искусственного синтеза основ вероучения исторических религий, будь то теософические учения или проекты «Вселенских Евангелий» в духе Вивекананды¹¹. И хотя масштабы охвата человечества основными мировыми религиями оказались значительными, ни одна из них не достигла и очевидно никогда не достигнет своей цели. Опыт современного экуменизма с убедительностью об этом свидетельствует. Так что гармония и с этой стороны нам, судя по всему, не грозит¹². Ведь даже там, где духовная интеграция и стала, в первом приближении, фактом и фактором истории, как, например, в христианизированной Европе, на ее основе вовсе не произошло никакого однозначно выраженного этнического синтеза.

Но рассматриваемый нами «этнический» идеал и основанная на нем мировая гармония имеют не одно, а по крайней мере три измерения (дело, род, вера). Если на пути гомогенизации современного человечества только в одном измерении не видно никаких реальных исторических перспектив этнического синтеза, то чего уж говорить о возможности обрести его во всем объеме этнического пространства. Этническая форма организации социальной жизни по самой своей сути оказалась плохо приспособленной для подобного рода направленного воздействия уже в силу своей самодостаточности и замк-

¹⁰ Может быть, самой глобальной попыткой по преимуществу «мирного» (опять таки со всеми приличествующими здесь оговорками) моноэтногенеза стали усилия по созданию «советского человека», его порождения из недр советского общества в рамках такой квазимперии, как СССР.

¹¹ А они, в свою очередь, стали реакцией на очевидную для сторонников подобного идеала невозможность стать действительно мировой ни для одной исторической «мировой» религии.

¹² Ортодоксальный, консервативный и реформистский иудаизм; католицизм, православие и протестанство, шиизм и суннизм, хинаяна и махаяна – объединить эти ветви религиозной жизни не под силу никому.

нутости¹³. Однако это не пассивные качества механического толка. Есть определенные основания для рассмотрения этносов через призму «витальной онтологий», особенностью которой является признание за полагаемыми его объектами качества «живых» образований (Этничность и диаспоральность... 1997).

Одним из основных проявлений жизни является наличие адаптивных и ассимилятивных реакций на внешние воздействия. Можно указать на два взаимосвязанных феномена (своего рода «эффект Мидаса») и «латентную идентичность»), проявляющихся в процессах направленного воздействия на паразитносы и позволяющих относиться к ним как к такого рода образованиям. Такое воздействие на паразитический телос (прочитываемое, в свою очередь, как этноморфное, имеющее субстанциональный характер) зачастую способно привести не к его ассимиляции или элиминации, а к оформлению новых паразитосов, к своего рода паразитическому делению и размножению. Оно способно стимулировать процессы идентификации и намечать линии раздела по функционально-дифференцирующему признаку, полагаемому в качестве субстанционального. Ибо «в отношении этнических проблем больше, чем каких-либо социальных, верна истина: то, во что люди верят, то и определяет реальность» (Фольц 1995: 26). Т.е. оно может приводить не к ассимиляции и интеграции, а наоборот – способствовать дифференциации, консолидации и мобилизации нового паразитического телоса на новой основе, полагаемой в качестве этнообразующей, абсорбирующей и упорядочивающей «вокруг себя» все остальные определенности. Подобная самоорганизация, в ответ на угрожающий стимул, способна превратить номинальную общность в реальную¹⁴.

Конечно, из самого по себе факта, что подобная гармонизация до сих пор «не случилась», непосредственно еще не следует, что этого не может быть вообще, нигде и никогда, сколь ни была бы мала вероятность подобной исторической перспективы. Но даже если бы подобное развитие событий и оказалось возможным, то оно явно стало бы случайным и, следовательно, в конечном счете, исторически малопродуктивным, малоценным. Это, по сути дела, означало бы поглощение одним этносом всех других (превращение относительно частных дела, рода и веры во всеобщие). Ибо нет никаких «внешних» оснований предпочитать одно дело, один род, одну веру другим делам, родам и верам. Как таковые они не сравнимы и не сопоставимы.

¹³ Как реальные формы человеческой общности и коллектив, и семья, и конфессия, кроме самих конституирующих их начал, обладают еще рядом качеств. Поэтому, для того чтобы придать таким началам характер идеалосообразности, весьма дальновидно предлагается отказаться от ограничений на *открытость, неоднородность, изменчивость и всеобщность*, т.е. от качеств, с одной стороны, обеспечивающих саму возможность их исторического бытия, а с другой, являющихся источником их неидеальности (Рокитянский 1995). Но, на наш взгляд, такой идеал автоматически теряет предикат «этнического».

¹⁴ Ср. например, «... католики и протестанты в Северной Ирландии убеждены, что их генетические корни различны, и никакие исследования, говорящие об обратном, не могут поколебать их убеждения» (Фольц 1995: 26).

4. Все эти соображения определяют наше отношение к проблеме этнической реальности и в ее конкретно-историческом облики, и в ее идеальных устремлениях – признание ее, с одной стороны, в качестве одной из базовых форм организации современного человеческого общежития, а с другой – отрицание за ней идеалосообразного характера для современного мирового сообщества. Построить новый мировой порядок на чисто этнической основе невозможно. Она амбивалентна и играет интегративную роль в отношении «собственного» телоса только путем его дифференциации по отношению ко всем другим. Но и без этой основы построить его также невозможно. Ее игнорирование или, что намного хуже, желание «искоренить», какими бы благими намерениями при этом ни руководствовались, способны привести к прямо противоположным результатам.

Как уже отмечалось выше, по своему происхождению и бытованию этническая форма интеграции как призванная обслуживать и укреплять самодостаточность социальной общности принципиально не предполагает и не нуждается в каком-либо соучастии в ее образе жизни «внешних», иноэтнических субъектов. Это всегда та или иная форма замкнутости и традиционной самоограниченности (традиция как самоограничение), воспринимаемых «изнутри» как «естественность» и переживаемых в качестве «естественных»¹⁵. «Устранение» же этой замкнутости и самоограниченности (буде такое возможно) является «устранением» и самой этничности как таковой – это ее атрибутивное качество. Сама же эта «естественность» непосредственно вытекает из того начала этнического как идеала, о котором выше уже шла речь: «этническая общность обладает качеством конфессии объединять людей на основе *веры* в открытость ее членам абсолютной *истины*». Вполне очевидно, что обладатели *своей* абсолютной «истины» никогда не променяют ее на *чужую* относительную «истину» или же «заблуждение» и никогда не согласятся признать наличие другой абсолютной истины. Другими словами, основой этнического как идеала является *нетерпимость* ко всякой другой вере (в открытость ей абсолютной истины), т.е. *несовместимость* с ней¹⁶.

Причем, как это не покажется парадоксальным на первый взгляд, подобное отношение характерно именно для «современных» мировых религиозных систем. Для языческого мира, с его разноликим пантеоном, успех подобного

¹⁵ Известно, что этимология большинства этнических самоназваний восходит к значению слова «человек». Вряд ли приходится сомневаться, что для процесса социоантропогенеза это было проведение границы между «своими» (людьми) и «чужими» (не людьми), на которых не распространялись принципы архаической этики.

¹⁶ Ср., например, суждение: «ситуация, когда вера в христианского Бога индифферентно уживается с верой других людей в других богов, в высшей степени противоречит идеалам христианства. Она буквально оскорбляет те идеальные притязания, которые христианский Бог выдвигает в силу своей абсолютной всеохватности и всеобщности; вера в других богов означает восстание против Него, против того, кто является и Богом этих неверующих. Терпимость так же противоречит логике христианства, как нетерпимость – традициям партикуляристских религий» (Зиммель 1996: 600)

предприятия, с этой его стороны, был бы гораздо более реален, ибо боги языческих сообществ были только их богами и относительно мирно уживались друг с другом¹⁷.

Если этническое как идеал и способно быть гармонизирующим началом, то только для моноэтнического человечества. Полиэтническое человечество принципиально на такой основе не гармонизируемо. Конечно, можно уповать на то, что процесс исторического развития общества сам по себе, так сказать, естественно, приведет к его моноэтнизации и тем самым к изживанию этничности как таковой. Для подобной точки зрения есть как будто определенные основания – все увеличивающееся сообщество людей, являющихся по своему самосознанию «гражданами Мира» и/или плодами межэтнических браков во многих поколениях. Но это только одна из тенденций, и ее глобализация вряд ли оправдана – существуют и прямо противоположные процессы, а значит и точка равновесия¹⁸. Но даже если бы такая утопия и обрела наличное бытие, то к этническому идеалу это опять-таки не имело бы прямого отношения. То, что происходит само собой «по природе», не нуждается ни в каком идеале, который в лучшем случае может рассматриваться как нечто эпифеноменальное.

Следует ли непосредственно отсюда, что подобный идеал должен быть признан вредной иллюзией, руководствуясь которой человечество вместо обретения социальной гармонии обречено идти путем вражды и ненависти?¹⁹ На

¹⁷ «Бог каждой замкнутой группы – это именно ее Бог, который заботится о ней или карает ее и наряду с которым столь же реальными признаются боги других социальных групп. Отдельная группа не только не претендует на то, чтобы ее Бог был бы также и Богом для других групп, но она со всей решимостью и энергией отвергла бы эту идею как умаление собственного религиозного достоинства со всеми вытекающими отсюда практическими последствиями. Ревнивое отношение к Богу, на которого возлагается строго определенный круг обязанностей, диктуемых политическими интересами общины, уступить которого другому племени, другому роду она согласилось бы в столь же малой степени, как и могущественного предводителя или чудотворца-кудесника, является положительным моментом, свидетельствующим о доведении до крайних пределов той терпимости, которая в принципе свойственна всем партикулярным религиям» (Зиммель 1996: 600).

¹⁸ См., например, любопытное суждение Фольца: «При рассмотрении этнических проблем и конфликтов чаще всего исходят из следующих положений: 1. Вероятность этнических конфликтов тем выше, чем ниже уровень социально-экономического развития общества 2. Этнические чувства острее всего у тех, у кого ниже уровень образования. 3. Чем больше различия между этническими группами, тем более вероятен конфликт между ними. 4. Быстрое устранение неравноправия в этнических отношениях – самый короткий путь уменьшения остроты этнического конфликта. 5. Существование подлинно демократических институтов, обеспечивающих участие масс в выборе лидеров, смягчает этнический конфликт ...»

По поводу этих положений необходимо сказать следующее. Во-первых, они кажутся самоочевидными, не требующими доказательств. Во-вторых, чаще всего они ошибочны. Они основаны на убеждении, будто этнический фактор является примитивным и перестает влиять на людей, по мере того как они становятся более цивилизованными, культурными, более современным и зажиточными» (Фольц 1995: 25-26)

¹⁹ Весьма характерно, что большая часть вероучений признает иллюзорность подобного идеала в качестве идеала социального и весьма дальновидно относит его реализацию к миру иному.

наш взгляд – да, если понимать его буквально и относить непосредственно к этнической реальности (в выше употребляемом смысле) во всем ее объеме как таковом. И нет, если относить к реальности *надэтнической*, в отличие от *субэтнической*, и рассматривать в качестве средства регуляции отношений между самими этническими сообществами и их членами. Но для этого свойственные такому идеалу «дело, род и вера» не могут и не должны быть субэтническими, рядоположными и однопорядковыми с теми, которые составляют саму плоть и кровь этнической общности и без которых она перестает быть самой собой. Они требуют переосмысления.

Такое переосмысление может и должно исходить из безусловного признания ценности этнического в двояком смысле: (1) из «внутренней» его ценности для представителей параэтнических телосов, рассматривающих его сохранение и поддержание в качестве условия своей идентичности – самосохранения; (2) из ценности «внешней», исходящей из «факта» этнического многообразия как блага и плюрализма, признающего *право* на такое сохранение для той или иной общности – «право быть другим».

Существует целый ряд точек зрения на смысл и значение ценности этнического, выраженных в теоретических схемах, призванных описывать и «объяснять» условия и причины воспроизводства идентичности, – этничность как дом (этничность – утилитарная ценность; она существует как средство преодоления отчуждения, либо снятия «информационного стресса», а также как средство достижения политических интересов элиты); этничность как речь (этничность – мировоззренческая ценность, способ концептуализации социального мира) и этничность как вызов (этничность гуманитарная и экзистенциальная ценность; профессионалами она воспринимается как проблема выживания народов, а «этниками», и в особенности представителями меньшинств, – как печать неравноправности)» и, скажем, этничность как память (Соколовский 1994: 23).

Противопоставлять их друг другу малоосмысленно. Больше того – есть достаточные основания полагать, что все они так или иначе описывают функциональные возможности этничности, становящиеся действительностью по мере своей востребованности. Т.е. они, на наш взгляд, описывают не саму суть этнического, а те функции, выполнение которых она, прямо или косвенно, способна обеспечивать и часто обеспечивает в социуме. Важным для нас обстоятельством является здесь то, что подобные ценности присущи и другим измерениям общности, а не только этничности как таковой. А это означает, что выражаемые этими ценностями социальные потребности могут удовлетворяться и иным путем – без и помимо мобилизации этнического начала. Именно с подобным обстоятельством мы связываем возможность переосмысления того идеала, который был выражен в «прожективном» истолковании феномена этнического.

5. Соответствующее переосмысление может состоять, прежде всего, в различении в этническом пространстве субэтнического и надэтнического подпространств и в смене интенциональной направленности и отнесенности со-

держания подобного идеала – от субэтнической к надэтнической реальности. Эта надэтническая реальность, в той мере, в какой она способна взять на себя заботу о воплощении такого идеала и выступить в качестве условия и гаранта его реализации в отношении исторических этносов и парэтносов, суть *осевая реальность* самого *этнического пространства*. Т.е. такое измерение этнического пространства, в котором, с одной стороны, равноправно представлены все другие составляющие субэтнического измерения (этносы и парэтносы), и тем самым их собственное всеобщее, а с другой – реализуются те ценности и удовлетворяются те потребности, которые реализуются и удовлетворяются в разных измерениях самого субэтнического пространства социальной жизни.

Здесь сразу же возникают вопросы: возможна ли (мыслима ли) такая «топика» у этнического пространства вообще, а если мыслима, то какие реалии современной организации межэтнических связей и отношений этому пространству уже «по факту» принадлежат и т.д.?

Для процессов становления современного миропорядка характерны как *естественный дрейф* универсальных креативных духовных значений в осевую реальность, так и *искусственное* ее устройство – в той мере и в той степени, в которой она осознается в своем собственном значении и назначении²⁰. При этом, в эмпирическом плане, речь вовсе не идет о появлении и построении чего-то небывалого до сих пор в истории. Скорее наоборот – в ней осмысливается и концептуализируется то, что всегда было присуще межэтническим отношениям и вызывалось к жизни необходимостью установления надэтнического порядка с тех пор, как в процессе социоантропогенеза этносы-общества (этнические миры) пришли в соприкосновении друг с другом и началось их взаимодействие и взаимопроникновение²¹. Речь, по сути дела, идет об опознании и артификации одного из основных звеньев перманентного исторического процесса в современных условиях, когда динамика такого взаимопроникновения стала напоминать цепную реакцию. Этот глобальный, всемирно-исторический процесс и его плоды так или иначе опознаны и отрефлектированы социально-философской мыслью, при всем разнообразии отношений к ним разных мыслителей. Скажем, М.Шелер саму современную историческую эпоху предлагал рассматривать как эпоху «уравнивания» и осмеливался «утверждать, что и в высшей предметной сфере следует ожидать все возрастающей, почти необычайной *конвергенции* основополагающих воззрений духовных элит и мыслителей всех народов. И здесь могучий процесс уравнивания идет полным ходом –

²⁰ Реальным прообразом этого конструкта являются те элементы нового мирового порядка, которые воплощены в международных соглашениях и конвенциях, вырабатываемых такими институциями как ООН, ЮНЕСКО и т.д. Правда они непосредственно заняты проблемами урегулирования отношений между субъектами международного права и только косвенно так или иначе оконтуривают осевую реальность этнического пространства, да и то в основном под давлением современной гуманитаристики.

²¹ Прообразом их могут служить «законы гостеприимства», существующие во всех традиционных культурных системах.

процесс, о котором до недавнего времени мало кто знал» (Шелер 1994: 128)²².

Очевидно, в надэтническом пространстве, как об этом уже говорилось выше, могут реализовываться те ценности и удовлетворяться те универсальные потребности, которые связаны с функциями, выполнение которых хотя зачастую (прямо или косвенно) и обеспечивается в социуме на парэтнической основе, но непосредственно с ней не связано по своей сущности²³. Т.е. лишь те, которые могут быть представлены и объединены в рамках того самого пространства, «в котором все заняты одним общим делом, принадлежат одному роду и разделяют одну веру» – осевого пространства этнической реальности. По отношению к специфически субэтническим, сугубо «единичным» и качественно не сводимым друг к другу социокультурным своеобычиям образа жизни, свойственным многообразным парэтносам, они выступают как «обобществленные» и тем самым «формализованные» условия и обстоятельства образа жизни современного общественного человека как такового. Легко заметить, что по «материалу» речь идет, в значительной мере, о тех обобщенных и общечеловеческих ценностях, которые традиционно относят к ценностям *культурно-цивилизационным* (цивилизационным) в их противопоставленности *культурно-почвенническим* (почвенническим), только понимаемым и интерпретируемым иначе и в другом контексте.

В некотором смысле, в данном контексте лишь уточняется и интерпретируется значение этого вида социальных ценностей и потребностей. *Потенциально* к ним относятся те конституциональные для образа жизни аксиолого-мотивационные его компоненты, которые могут обобщаться, обобществляться и формализоваться, «поднимаясь» над субэтнической основой социальной жизни в осевое измерение, т.е. транспонироваться в другой ее регистр без деформации самой социальной ткани образа жизни. Важно при этом как то, что такая осевая реальности не заменяет и не отменяет собственно субэтнических изменений этого пространства, так и то, что она выступает прямым их продолжением и завершением²⁴.

Основная особенность почвеннических ценностей (миропонимания и мирочувствия) и их же основное достоинство – образование единства, в котором неразрывно сплетены и переплетены религиозные, правовые, политичес-

²² Он же хорошо понимал необходимость и неизбежность артификации этого процесса: «Итак, если само уравнивание, как я сказал, – это *неотвратимая судьба* человечества, первым общим переживанием которого явилась на самом деле первая мировая война, – ибо лишь здесь впервые начинается общая история так называемого человечества, – то при всем этом *задачей духа* и воли является задача так *управлять* этим выравниванием групповых свойств и сил и так *направлять* их, чтобы они соответствовали ценностному росту вида «человек». И это задача – причем первостепенной важности – для всякой политики» (Шелер 1994: 107).

²³ В первичных обществах-этнотах все социальные ценности и потребности фактически удовлетворяются на этнической основе, но она одна на всех.

²⁴ Сравнительное религиоведение давно показало, что этические кодексы исторических мировых религий во многом совпадают. Да это и неудивительно, ибо именно в их горниле рождалось современное человечество как единое целое. Пусть даже еще не в качестве наличного бытия, а только как надежда и упование.

кие, эстетические и т.п. мотивы и представления, нравы и обычаи «образа жизни» того или сообщества²⁵. И хотя разные компоненты этой целостности имеют разное происхождение и разные источники, сложились в разные исторические эпохи, образовавшийся *генетический синкретизм* освящен и скреплен соответствующей «мифопоэтической реальностью» и транслируется в качестве основы той или иной паразитической традиционности, на правах ее живой исторической памяти. Именно в отношении подобной реальности осмысленны суждения о ее «подлинности», «своеобычности», «неисчерпаемости» и т.п. В такой исторической памяти так или иначе нашла своеобразное отражение и выражение вся реальная историческая судьба соответствующего сообщества. Поэтому она является неизменным и неистощимым источником литературно-художественного творчества, да и всех видов так называемого «национального» искусства вообще.

Однако, одновременно, это такая форма исторической памяти, в которой исторические образы являются результатом многократных отражений и наложений, совмещений исторически разделенных и разделений исторически близких событий и персонажей. Где каждое такое «событие» или «персонаж» представляют уже не самих себя, а длинный и причудливый их ряд, уходящий в историческое беспамятство. Поэтому же, питая национальное искусство, она одновременно и неизбежно является источником национальных мифологий, выдающих себя за «подлинную» историю, и рассадником расово-этнических предрассудков, освещая и укрепляя их средствами того же искусства. И выхода из образующегося здесь замкнутого круга в рамках самой этой реальности нет, поскольку любая ее ревизия разрушает ткань мифопоэтической реальности, не имеющей других скреп, кроме скреп исторического предания.

Как социально-психологический феномен этничность, опирающаяся на механизм идентификации и чувство идентичности, представляет собой определенный гуманитарный ресурс, выполняющий мобилизующую, интегративную роль при осуществлении тех или иных социально-политических инициатив. Поэтому борьба за овладение этим ресурсом всегда составляла и составляет основное содержание так называемой «национальной» политики. Эта политика амбивалентна и способна играть как конструктивную, так и деструктивную роль в процессах этносоциального взаимодействия. Она так или иначе направлена на управление этим ресурсом, на придание ему свойственной тому или иному типу этнического сознания (представления и чувства) формы выражения: от просвещенного патриотизма до оголтелого шовинизма и ксенофобии в зависимости от того, к какой из категорий культурных ценностей она апеллирует (к культурно-цивилизационным или культурно-почвенническим).

Именно «управляемость» подобного ресурса часто становится основой для трактовки этничности и этносов как эпифеноменов, как результатов реификации политико-идеологических фикций. То, что такие фикции реально продуцируются маргинальными формами этнического сознания и становятся ос-

²⁵ Вернее, речь идет о таком диффузном состоянии, в котором каждая из этих форм еще не дифференцирована от всех других и непосредственно участвует в их софункционировании.

новой для социальной практики таких общностей, не подлежит сомнению, но объявлять на этом основании все этническое пространство такой фикцией было бы не более оправданным, нежели отрицать объективность внешнего мира исходя из факта возникновения галлюцинаторных переживаний. Они являлись бы фикциями, если этничность была бы не *естественно-искусственным* (ЕИ), а чисто *искусственным* (И) феноменом. Но у нее, как уже отмечалось выше, есть вполне естественная компонента, вырастающая из «своего» образа жизни, отличающегося от образа жизни других параэтнических сообществ и имеющего другой исторический генезис. Переживание этого отличия как непосредственной данности и является эмпирической основой для ее осознания и истолкования в качестве «этнической дистанции»²⁶.

Поэтому, хотя управляемость и может быть в пределе превращена в чистую манипулируемость, подобное возможно только в вырожденном случае. В этом своем качестве этничность мало чем отличается от всех других социокультурных феноменов, феноменов естественно-искусственных, способных в процессах «оестествления» и «артификации» отливаться в самые разные конкретные формы. То, какими в итоге эти формы окажутся, зависит во многом и от присущей тем или иным общностям или сообществам традиционной формы этнического сознания (как составной компоненты господствующего менталитета, обеспечивающего сохранение традиционного образа жизни), и от базовой образовательной модели воспроизводства общности-сообщества, и от «национальной политики».

Важнейшим обстоятельством, определяющим лицо такой «национальной политики», является различная рефлексивная выраженность этой их ЕИ-природы в самих цивилизационных и почвеннических ценностях. Для субэтнической реальности и выражающих ее почвеннических ценностей характерно, что если они и подвержены изменениям, то только в процессе имманентной исторической эволюции и плохо приспособлены к артификации и развитию. Артификация же процесса устроения осевой реальности создает возможности, с одной стороны, для смягчения и ослабления последствий межэтнического давления, а с другой стороны, для гарантирования сохранности субэтнических пространств – традиционности образа жизни как основы для этнической идентичности тех людей, которые рассматривают ее как условие своего самосохранения. Характерным примером такой артификации является устранение всех видов этнической дискриминации и установление равноправных отношений в социальной жизни современных демократических государств. Со стороны же гарантированности сохранности субэтнических пространств примером такой артификации является государственная политика создания и поддержания культурных автономий тех или иных меньшинств.

Об основаниях подобного артифицирования, предполагающего ограничение и сужение традиционного ареала действительности этнического фактора,

²⁶ В принципе, любое устойчивое отличие может быть истолковано и истолковывается «по факту» этническим сознанием как наличие этнической дистанции, сколь бы незначительным, в объективном смысле, это отличие ни было. Такова топология этнического сознания как такового.

речь уже шла выше — он *амбивалентен*. В силу своей принципиальной традиционности, неразрывной связи с историческим генезисом конкретной общности, этническое сознание в наибольшей степени архаизировано и наряду с культурно-почвенической плодотворностью неизбежно выступает *абсорбентом* негативных стереотипов взаимоотношений, обязанно своим возникновением тем отношениям между этносами и паразитоэтносами, которые если и не стали уже, то уж наверняка должны стать достоянием «только истории». В эпоху холокоста и ядерного вооружения других альтернатив просто не существует.

Конечно, для такой артификации недостаточно только потенциального представления о культурно-цивилизационных ценностях и потребностях, а необходима та или иная их конструктивизация, в общем случае направленная на создание таких связей и отношений между надэтническим и субэтническими пространствами, которые обеспечивали бы диссоциацию цивилизационных и почвенических ценностей и потребностей и «возгонку» первых в осевую реальность этнического пространства.

При этом представляется необходимым еще раз подчеркнуть, что речь вовсе не идет о чисто произвольном конструировании «новых» ценностей, а об артификации всегда существовавшего процесса дифференциации единого ценностного «древа». Само по себе его разветвление на культурно-почвенические и культурно-цивилизационные ценности — это условие и результат социально-исторического процесса конвергенции-дивергенции культур и социокультурных общностей²⁷.

Литература

- Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. М., 1996.
- Пископелъ А.А. Наука, мышление и знание в СМД-методологии // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 5. М., 1998.
- Пископелъ А.А. Этничность и «внутренняя природа» человека // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 5. М., 1998.
- Рокитянский В.Р. Этническое как проект // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып.2. М., 1995.
- Соколовский С.В. Этничность как память: парадигмы этнологического знания / Этнокогнитология. Вып.1. М., 1994.
- Соколовский С.В. О неуют е автаркии, национализме и пост-советской идентичности // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып.2. М., 1995.
- Фольц У. Этнический конфликт и вмешательство: некоторые международные аспекты // Кентавр, №3-4, 1995.
- Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.
- Этничность и диаспоральность (круглый стол) // Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып.3, М., 1997.

²⁷ Примером такой дифференциации, скажем, является становление «права» на основе нравов и обычаев, не отменившего и не заменившего самих нравов и обычаев как таковых, а лишь сузившего сферу их бытования.

А.А.Пископель
В.Р.Рокитянский
Л.П.Щедровицкий

Национальная школа в РФ: состояние, проблемы и перспективы образовательной реформы

1. Прежде чем сосредоточиться на основном содержании работы – вопросах, связанных с проведением образовательной политики в пространстве национальной школы, – отметим, что анализируемую область характеризует непроясненность понятийных оснований и связанная с этим терминологическая путаница. Не претендуя на полное выстраивание соответствующей системы понятий, кое-что уточним и укажем на наиболее значительные противоречия и двусмысленности – в порядке предостережения от возможных недоразумений и злоупотреблений.

1.1. Под «национальной школой» (НШ) в настоящее время понимают (иногда в пределах одного текста или дискурса!) весьма разные вещи, в том числе

- школьные системы «национальных республик» и национальных административных образований в составе РФ
- школы с нерусским языком обучения
- школы для этнических меньшинств
- школы с «этнокультурным компонентом образования» или сам этот «компонент», под которым, в свою очередь, понимается изучение национального языка и *национальной культуры* (см. ниже); при таком понимании говорят и о русских национальных школах (и создают их), как о чем-то отличном от школ, в которых получает среднее образование подавляющее большинство русского населения страны.

Ясно, что это не одно и то же и что нельзя разные вещи называть одинаково. Единственное, что некоторым образом связывает между собой вышеперечисленные виды образовательных учреждений, это их касательство к проблемному полю, порождаемому полиэтничностью и многокультурностью России. Отсюда предмет нижеследующего анализа – *российская общеобразовательная школа в перспективе полиэтничности и мультикультурности страны.*

1.2. Когда в контексте образования идет речь о «национальной культуре», само это понятие как правило специально не обсуждается – ни авторами исследовательских работ о «национальной школе», ни авторами образовательных программ и методик, ни, тем более, авторами национально-политических деклараций – по той, вероятно, причине, что воспринимается как самоочевидное.

Попытка же реконструировать такое представление обнаруживает два существенных недоразумения.

Во-первых, обычным является отсутствие различия и связи между социологическим понятием культуры как *системы норм и образцов* и представлением о *культурном творчестве* как исторически длящейся работе поколений, с другой.

Во-вторых, «национальное» применительно к культуре очень часто понимается как исключительно «традиционное» в смысле *архаики* и (или) *фольклора*.

Результатом такого рода двусмысленного и редуционистского понимания национальной культуры оказывается в лучшем случае малосодержательное, а в худшем – деструктивное представление о «возрождении и развитии национальной культуры» и о роли в этих процессах НШ.

1.3. Представления о возрождении национальной культуры, ныне доминирующие в сознании и деятельности национальных интеллигенций и определяющие культурную и образовательную политику в национальных республиках, сводятся к двум основным составляющим: а) максимальное распространение национального языка и б) возврат к традиционным нормам, ценностям и идеалам, обращенным в прошлое.

Мы также исходим из того, что условиями жизнеспособности и развития культуры являются *коммуникативное и герменевтическое единство* с культурой прошлых эпох, способность каждого нового поколения понимать доставшееся ему культурное наследие и творческое его применение. Это относится и к фольклору, и к мифологии, и к культурной архаике, но отнюдь не только к ним, а ко всему национальному культурному наследию.

Но этого недостаточно.

Во-первых, необходима также сознательная *культурная политика*, политика развития культуры и связанная с нею *образовательная политика*, включающие в себя непрерывную работу идеоло- и целеполагания. Этим, в частности, определяется принимаемый нами контекст анализа и проблематизации – контекст проводимой (точнее: декларируемой) в России *образовательной реформы*.

Во-вторых, эта политика должна ориентироваться не только на языковую экспансию, обеспечивающую лишь расширение аудитории культуры, популярии ее потребителей, но и на выращивание культурной элиты.

В-третьих, нужно учитывать то, что современная, живая и развивающаяся, культура принципиально отличается от изолированной и нерелефлируемой этнокультурной традиции архаических эпох. Ее жизнь и развитие немислимы без открытости другим культурам и общительности с ними, без «интерриоризованной мультикультурности». Это относится прежде всего к территориально соседним культурам, к региональному единству, с той, впрочем, оговоркой, что развитие современных телекоммуникаций в большой мере релятивизирует фактор соседства.

1.4. Основным (или, по крайней мере, самым заметным) инструментом национально-культурной и национально-образовательной политики в настоя-

щее время является правовое нормотворчество. Издается немало документов, оформленных как правовые и притязающих на регулирование языковой и культурной политики, в том числе и в сфере образования. Между тем и здесь используются непроясненные и несогласованные друг с другом понятия.

Дело в том, что во множестве разноуровневых телеологических регуляторов этой (как и любой другой) области деятельности надо было бы различать декларируемые и лелеемые *идеалы*, реально преследуемые *цели* и *задачи* и, наконец, действующие *правовые нормы*.

Назначение идеалов – служить долгосрочными ориентирами для политики, направленной на достижение поставленных целей и решение текущих задач. Цели и задачи меняются вместе с ситуацией, идеалы в нереволюционные периоды не столько меняются, сколько проясняются и уточняются. Действующие правовые нормы не просто регулируют деятельность, но *обязательны к соблюдению под угрозой ответственности*.

Это приходится специально оговаривать, поскольку смешение этих категориально различных сущностей присутствует и в международных документах, где идеалы именуются «правами» (от Декларации прав человека до принятой в 1996 г. Всеобщей декларации языковых прав), и в российском федеральном и региональном законодательстве, и в политических декларациях политических партий и движений. В качестве деструктивных последствий этого обстоятельства можно назвать противоречия между различными официальными документами (международными, российскими и региональными). Эти противоречия, вероятно, не являются таковыми в глазах их авторов, которые в одних случаях имеют в виду идеалы, в других цели, в третьих нормы, но могут превращаться в источники конфликтов при вольном или невольном злоупотреблении.

Этим, разумеется, не исчерпывается понятийная дефициентность, релевантная рассматриваемым вопросам, но остальные ее примеры будут рассматриваться в связи с конкретными проблемами.

2. Приступая к анализу декларируемой образовательной реформы, мы считаем целесообразным в явном виде сформулировать те базовые принципы и идеалы, которыми мы руководствуемся и исходя из которых судим о декларациях и действиях в рассматриваемой области. Вот эти принципы и идеалы:

- Полиэтническое, мультикультурное наследие России должно стать важнейшим ресурсом ее развития.
- Национальное, этнокультурное своеобразие образования должно расширять, а не сужать границы социокультурной компетенции личности, создавать дополнительные возможности для ее личностного и профессионального роста.
- Культурное, образовательное, коммуникативное и кооперативное пространство России должно быть единым – в смысле связности, сообщаемости российских этнокультур, что, однако, никоим образом не означает однородности, унификации.
- Каждому гражданину России должна быть обеспечена возможность бес-

препятственного движения по индивидуальным, свободно избираемым образовательным траекториям.

- Реформа образования должна работать на «пространственное развитие», чтобы различия в месте рождения не были причиной стартового неравенства на пути индивидуального роста, а беспрепятственность межрегиональных перемещений делала равнодоступным все многообразие культурно-образовательных возможностей.
- Образовательное пространство России должно быть открыто для взаимодействия с глобальным культурно-образовательным пространством.

2.1. Не претендуя на сколько-нибудь полное рассмотрение здесь всего круга вопросов о взаимоотношениях образования и культуры, ограничимся указанием на то, что в смысловом пространстве общего и невятного лозунга о роли школы в возрождении и развитии национальной культуры можно различить несколько различных представлений о целях и функциях школьного образования:

- Соучастие в трансляции культуры (как системы норм и образцов) – в качестве одного из основных механизмов такой трансляции. В связи с трансляционной функцией образования встают, очевидно, вопросы о том, что именно транслируется, нормы и образцы какого из слоев культурно-исторической памяти, насколько рефлектируется транслируемое содержание, как оно соотносится с меняющейся социокультурной ситуацией.
- Герменевтическое образование: развитие средств и способностей понимания продуктов культурного творчества. В национальной перспективе речь идет в первую очередь о прошлой культуре своего народа, но – по самому понятию – понимание есть открытость смыслам, ближним и дальним, своим и чужим.
- Развитие культуротворческих способностей. Цель «возрождения и развития» национальной культуры есть творческая цель и продвижение по пути ее осуществления не может быть обеспечено простым узнаванием того, что делалось в прошлом (хотя его и предполагает).
- Развитие мотивации – учения, роста, творчества, служения. В достижении этой цели могут участвовать трансляция и понимание человеческих образов прошлых эпох.

Вопрос о мотивации есть уже вопрос, традиционно относимый к области воспитания. О воспитательных целях и возможностях НШ говорить необходимо – как потому, что именно в воспитательных терминах эти вопросы часто обсуждаются, так и потому, что существует давняя педагогическая традиция связывать со школьным образованием решение воспитательных задач.

2.2. Один из самых распространенных ответов на вопрос о целях национального образования звучит, по видимости, просто: сформировать национальное самосознание, национальную идентичность. Однако, простота этого ответа скрывает ряд сложностей.

Прежде всего, идентичность не может быть простой, одномерной. Чел-

век, который – получив образование в НШ – идентифицирует себя, например, в качестве татарина, – сознает себя еще и гражданином России, и европейцем (или евразийцем), и, допустим, казанцем, и, с большой вероятностью, членом мусульманской уммы. Здесь-то и начинаются главные вопросы: о соотношении этих идентичностей, о возможностях перехода от одной к другой, или же изменения, утраты и приобретения идентичности – в том числе под воздействием образования.

Еще один вопрос: о *содержании* идентичности. Может ли национальная самоидентификация сводиться к простому акту признания себя таким-то или это с необходимостью связано с усвоением некоторого содержательного «образца»? Чаще всего, речь идет об усвоении «национальных ценностей», но дело сводится либо к тавтологии («Как стать татарину татарин» – так назван раздел интернет-сайта «Татарская газета»), либо к национальному «гарниру» к общечеловеческим ценностям.

2.3. То, как вопрос о национальных ценностях, национальных добродетелях и доблестях и ценимых особенностях национального менталитета решается в обиходной практике НШ, часто имеет характер анекдотический (из разговора с учителем национальной традиции одной из московских школ «с этнокультурным компонентом»: «Какие специфически национальные качества вы воспитываете в детях?» – «Герпимость»). Мало помогают в получении ответа о возможном национально-специфическом аксиологическом содержании воспитания и труды по «этнопедагогике», построенные на материале фольклора и называющие в качестве национальных ценностей такие этические универсалии, как трудолюбие, любовь к ближним и т.д.¹ В этой связи можно указать на следующие вопросы, требующие исследования:

- Каким образом преимущественно осуществляется естественная трансляция ценностей – через участие в деятельности? через вещную и природную среду? через фольклор? через профессиональную литературу и искусство и т.д.?
- В какой мере, в отношении какого аксиологического содержания и как могут осуществляться рефлексия, вербализация и технологизация для транслирования средствами образования?
- Каким может и должно быть соотношение сознаваемого и неосознаваемого ребенком материала, при усвоении аксиологического содержания, способного его мотивировать
- Каким может и должно быть соотношение национально-специфических ценностей и ценностей «общечеловеческих», и каково место первых в общечеловеческом и общероссийском аксиологическом контексте?

¹ См., например, монографию основателя российской этнопедагогике, академика РАО Г.Н. Волкова «Этнопедагогика чувашей» (Волков 1997) и множество других, относимых авторами к этой области педагогического знания.

Остается сказать, что без исследования этих вопросов постановка перед образованием цели трансляции национальных ценностей представляется малосодержательной.

2.4. Еще одна воспитательная цель, выдвигаемая перед НШ – воспитание патриотизма. Однако в отличие от естественно формирующейся и повсеместно наблюдаемой привязанности к своему, родному («к родному пепелищу и отеческим гробам») патриотизм как рефлектируемая ценность и предмет целенаправленного воспитания есть нечто отнюдь не само собой понятное и требующее исследования. Укажем в этой связи на следующее.

Конечно, патриотизм есть избирательная привязанность к тому, что признается родным, родиной. Но предмет патриотических чувств может локализоваться по-разному: территориально, отнесением к какой-то среде; антропологически («моя родина – близкие мне люди»); духовно («духовная родина»). Его границы могут быть шире или уже («малая родина», «большая родина»), более или менее определенны или подвижны. Причем разные виды патриотизма могут сосуществовать – в одном сообществе или даже у одного лица. Они могут быть по-разному связаны между собой, дополнять или исключать друг друга.

Применительно к российской НШ нужно, как минимум, ясно различать российский (гражданский) патриотизм, этнический патриотизм и локальный (региональный) патриотизм. И то, что в этой связи наиболее бросается в глаза как отличительная черта национально-образовательной политики последнего десятилетия, это тенденция выстраивать всю эту политику вокруг *этнического патриотизма* как высшей ценности – при невыясненности отношений между ним и другими родами патриотизма.

В частности, важным вопросом является вопрос о соотношении и связи этнического патриотизма, в основе которого лежит родовая преемственность, связь с предками («я – татарин, потомок татар»), и местного патриотизма (такого, например: «я – волжанин, земляк других волжан»). И тот, и другой могут соединяться, давая сочетание этнокультурной и территориальной укорененности и оседлости. В этом случае предметом наиболее непосредственной привязанности выступает этнокультурная и природная среда региона.

Следует не упускать из виду, что как социально-психологический феномен этничность, опирающаяся на механизм идентификации и чувство идентичности, представляет собой определенный гуманитарный ресурс, выполняющий мобилизующую, интегративную роль при осуществлении тех или иных социально-политических инициатив. Поэтому борьба за овладение этим ресурсом всегда составляла и составляет основное содержание так называемой «национальной» политики. Эта политика амбивалентна и способна играть как конструктивную, так и деструктивную роль в процессах этносоциального взаимодействия. Она так или иначе направлена на управление этим ресурсом, на придание ему формы выражения, свойственной тому или иному типу этнонационального сознания (представления и чувства): от просвещенного патриотизма до оголтелого шовинизма. То, какими в итоге эти формы окажутся, зависит во

многим и от присущей тем или иным общностям или сообществам традиционной формы этнического сознания (как составной компоненты господствующего менталитета, обеспечивающего сохранение традиционного образа жизни), и от «национальной политики». Но в наибольшей степени – от базовой образовательной модели воспроизводства общности-сообщества и в первую очередь именно «национальной школы».

3. К настоящему времени долгий и многоэтапный путь формулирования представлений о разумном и справедливом устройении языковых аспектов человеческого общежития (в рамках общей идеологии «прав человека») завершился принятием целого ряда разностатусных документов, венчаемых Всеобщей декларацией языковых прав. Идеалы, на которых она основана таковы:

- сохранение языкового многообразия и каждого отдельного существующего языка как ценности для человечества в целом
- коллективные права языковых сообществ на сохранение, возрождение, развитие и употребление своих языков
- индивидуальное право каждого человека на изучение и употребление любого языка.

Аналогичные «права» записаны и в российских законодательных документах (Закон о языках, ст. 2–5, 9, 10; Закон об образовании, ст. 6).

Существующие документы двусмысленны относительно содержания, вкладываемого здесь в слово «право»: можно понимать его (а) как право в смысле незапрещенности и беспрепятственности его осуществления своими силами и «за свой счет» или же (б) как идеальную цель – создать везде и для всех реальные условия осуществления этого идеала.

В условиях богатых стран, готовых выделять большие средства на решение гуманитарных задач, рассогласование между «правом»-идеалом и правом, которого можно требовать по закону, не слишком опасно (заинтересованные сообщества и организации могут, апеллируя к «правам»-идеалам, добиваться необходимых ресурсов для их реализации).

Кроме того, в некоторых документах предусмотрены «квоты» исполнения, т.е. обязательное исполнение некоторого оговоренного числа требований по выбору (см., например, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, статью 2).

Напротив, в ситуациях ограниченных ресурсов языковые «права» одних как правило ограничивают языковые «права» других, т.е. возникают ситуации конфликтов и необходимости компромиссов.

В конкретных ситуациях, в том числе и в России, не все идеальные «права» равно актуальны и (или) равно осознаваемы (или вообще актуальны и осознаваемы) сообществами и индивидами. Часто они на практике вступают в противоречие друг с другом (например, коллективные права сообществ и права индивида).

Языковые ситуации бывают очень разными в зависимости от официального статуса языка (в РФ, кроме русского, статус государственных имеют язы-

ки титульных народов республик), численности и расселения его носителей, предьстории и развившихся функциональных возможностей самого языка и др.

Практически весь набор мыслимых языковых ситуаций представлен, например, в Поволжье с его шестью государственными языками помимо русского, меньшинствами во всех поволжских регионах, компактными и дисперсными, имеющими свою государственность – в Поволжском округе, за его пределами в РФ или за рубежом (как немцы) – или вообще ее не имеющими.

Наиболее заметной характеристикой языковой ситуации в национальных республиках Поволжья с начала периода «суверенизации» является прогрессирующая экспансия языков титульных народов, закрепляемая на уровне законодательства и реализуемая политически, в первую очередь в образовательной политике (особенно заметно в Татарстане и Башкортостане).

Нормативную базу, которой должна регулироваться языковая политика, в том числе в сфере образования, составляют федеральный и региональные законы о языках, закон РФ о национально-культурной автономии, федеральный и региональные законы об образовании.

Остаются непроясненными одно из основных понятий языковой политики и законодательства в языковой сфере – «государственный язык», а также близкие понятия, такие как «официальный язык», «язык межнационального общения». Последний термин унаследован из лексикона советской эпохи, первые два широко применяются в международных документах. Еще в 1953 г. по заказу ЮНЕСКО экспертами были предложены следующие дефиниции этих терминов:

- государственный язык (national language) – язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках данного государства в политической, социальной и культурной сферах, выступающий в качестве символа данного государства;
- официальный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства.

Однако источник, приводящий эти дефиниции, тут же сообщает, что они носят рекомендательный характер, что остаются абсолютно неясными права и обязанности граждан государства в отношении его государственного и официального языков и что эти дефиниции не принимаются во внимание в ряде стран, в том числе в странах СНГ и *республиках в составе РФ* (Дьячков 1995: 9).

Много противоречий существует внутри законодательства национальных республик о языках и об образовании и между республиканским и федеральным законодательством в этой сфере. Наиболее очевидное из них – это противоречие между нормами, утверждающими языковое равноправие, в том числе и в образовании, присутствующими в федеральном законе о языках (ст. 2, 3, 4, 5, 9) и федеральном законе об образовании (ст. 5), и ситуацией *принудительного многоязычия*, в которой оказываются представители языковых меньшинств на территориях республик с двумя государственными языками, которые в соответствующих республиканских законах обязательны для изучения во всех шко-

лах (соответствующие статьи региональных законов о языках и образовании).

Проводимая руководством республик политика на вытеснение титульными языками государственного языка России без сомнения опасна, поскольку ведет к разрушению единого коммуникативного и кооперативного, политического, культурного, образовательного пространства страны. Она может иметь неблагоприятные последствия для хозяйственной жизни страны. Сознание наиболее опасных последствий такого рода отражено в тех частях республиканского законодательства о языках (например, Татарстана), которые предписывают обязательное использование русского языка в некоторых областях, таких как железнодорожный транспорт и т.п. (Баскаков 2000).

Предвидимым и отчасти уже отмечаемым (большего нельзя утверждать в отсутствии постоянного и всестороннего мониторинга) последствием названной политики является общее понижение культурного и образовательного уровня выпускников школ и, соответственно, абитуриентов вузов и новоприбывающих на рынок труда работников, в частности, так называемое «полуязычие», т.е. понижение уровня владения всеми языками до примитивного. Это связано с функциональной неравномошностью новых государственных языков русскому, отсутствием на этих языках необходимой литературы, недостатком квалифицированных преподавателей. Декларируемое в некоторых республиках право сдавать вступительные экзамены на родном языке явно не согласуется с тем, что преподавание в вузах осуществляется почти повсеместно (кроме нескольких татарских вузов) на русском.

Таким образом, возникает еще и противоречие между проводимой языковой политикой и правами человека (интересами индивидуального роста) в виде (а) препятствий на пути получения полноценного профессионального образования; (б) сокращения возможностей трудоустройства.

Все вышесказанное никак не направлено против развития нерусских языков и расширения области их применения. Смысл вышесказанного в том, что:

- эффективная языковая политика предполагает политика должна быть системной и уделять внимание всем сторонам языковых, культурных и образовательных процессов; в частности, применительно к каждому региону это означает разработку и проведение политики развития многокультурной и многоязычной среды региона
- осуществление языковой политики нуждается во всестороннем и постоянном мониторинговом сопровождении, позволяющим ее корректировать в зависимости от складывающейся реальной ситуации
- нет оснований сводить языковую политику к нормотворчеству и силовому осуществлению принятых норм, она может осуществляться по многим направлениям и использовать различные средства; совершенно не очевидно, что для развития языка расширение сферы его применения и умножение числа носителей приоритетно и первоочередно по отношению к языковедческим и филологическим исследованиям, терминологической и словарной работе, методической работе в области преподавания языка, переводческой и издательской работе и т.п.

- для языковой политики в образовательной сфере в условиях неизбежного для большинства регионов России многоязычия большое значение имеют определение типов приобретаемых в школе языковых компетенций (связанных с характером будущего использования каждого изучаемого языка), учет и необходимая компенсация начальных условий (материнский язык, языковая среда), оптимальное распределение изучения разных языков во времени и согласование соответствующих программ, разработка и применение эффективных методик и технологий обучения языкам; при условии решения этих проблем можно, как представляется, рассчитывать на то, что многоязычие станет ресурсом личного и общественного развития, а не препятствием к нему.

Зарубежный опыт в области языковой политики таких стран как Бельгия, Канада, Швейцария может быть полезен, поскольку он демонстрирует возможности гибкой, ситуационно обусловленной политики и многоуровневого, субсидиарного управления (см. *Дьячков 1995*).

4. В настоящее время полиэтничность и многокультурность России отражается в школьной практике и во всех документах, относящихся к содержанию образования, в виде разделения содержания образования на *федеральный* (общероссийский) и *национально-региональный* компоненты (см. федеральный Закон об образовании, ст. 7 – о госстандартах образования). С этим разделением связан ряд неясностей и противоречий:

- Путаница в терминологии. Здесь наложены друг на друга и «склеены» два деления – по уровням управления (федеральный, региональный, школьный) и собственно по содержанию (универсальный, или интернациональный, и национальный, или этнокультурный).
- Очень сомнительным выглядит само разделение содержания образования на два автономных «компонента», формируемых отдельно, вне связи друг с другом. При этом идеальный смысл декларативной формулировки Закона об образовании на сей счет – *«единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства»* (ст. 2, п. 2) – деавуируется практикой разделения компетенций в деле формирования разных компонентов между федеральным и региональным уровнями управления, подкрепленной и законодательно (ст. 28-30 – о распределении компетенций между РФ и субъектами федерации).
- Дидактическая ущербность такого разделения дополнительно усиливается тем, что оно проводится в парадигме ныне действующего, во многом устаревшего *предметного деления* (особенно, для гуманитарных и обществоведческих предметов).
- При аналитическом, абстрактном выделении в содержании образования этнокультурных или региональных составляющих необходимо специально рассматривать разрываемые связи и отношения. В данном случае явно тре-

буют специального рассмотрения проблемы *пропорций* (распределение внимания между культурными явлениями и историческими событиями глобального, российского и местного масштабов) и *взаимосвязей-взаимовлияний*.

4.1. В том, как в последнее время рассматриваются и излагаются истории России и национально-региональные истории трудности и порочные следствия действующих подходов носят наиболее явный и политически выразительный характер.

Справедливости ради, надо сказать, что национально-пристрастная деформированность версий истории (тем большая, чем ниже мы спускаемся с высот академической истории в низины популярных и учебных изложений) есть явление, существующее испокон веку и повсеместно, а потому плохо поддающееся исправлению. Трудность здесь коренится в плохой сочетаемости ревнивой любви к своему, родному (родной культуре, родному народу, Родине) со справедливостью к чужому. Тем более это проявляется в видении прошлого, наполненного конфликтами с этим чужим и оставившего в наследство воспоминания о невозмещенных ущербах и неотомщенных обидах. Полное беспристрастие исторического зрения, искреннее (а не в формах внешней политкорректности), мыслимо, вероятно, лишь в фантастическом будущем без границ и разделений...

Тем не менее, выполнение определенных, единых для всей страны требований к изложению истории *в школьных учебниках* есть непреложная необходимость. В настоящее время это не так. На смену единой «истории СССР», совмещавшей в себе выпрямленный русско-российско-державный взгляд, по советски понятую политкорректность (интернационализм, декларируемое уважение ко всем народам) и сетку понятий «исторического материализма», и выполнявшей в этом качестве функцию национальной (в западном, государственном смысле) истории, пришел разноречивый национальных (уже в этническом смысле) историй, с массой особенностей, таких, как пристальное внимание к историческим травмам, героизация и мифологизация прошлого и т.д.²

Как на требующий изучения и, возможно, подражания опыт можно указать на работу по приведению к согласию и освобождению от клеветы и искажений учебников истории стран Европы, проделанную в послевоенные годы под эгидой ЮНЕСКО (см. Multilateral evaluation...).

4.2. В России, как и в большинстве государств мира, действует законодательно закрепленный принцип отделения религии от государства, а тем самым, и от государственной школы. Он представлен в Конституции (ст. 14; а также в ст. 13 об идеологическом плюрализме и отсутствии государственной идеологии) и в Законе об образовании (ст. 2, п. 2). Вопрос о взаимоотношениях религии и школы трактуется также в специальном Законе о свободе совести и религиозных объединениях (где есть ст. 5 о религиозном образовании).

² Это показано, в том числе на материале школьных учебников истории, в монографии «Национальные истории в советском и постсоветских государствах» (Национальные истории... 1999).

Следует сказать, что во всем мире толкование этого принципа применительно к практическим ситуациям встречается с трудностями и вызывает споры (достаточно вспомнить многолетнюю борьбу в США вокруг вопроса об утренней молитве в школе) и что утвердившиеся практики существенно разнятся в разных (принимających принцип) странах (ср., например, свободу религиозного воспитания по желанию родителей в школах Германии и действующий во французских школах категорический запрет даже на вторичные признаки религиозной принадлежности, такие, как покрытие волос платком у мусульманок).

Россия пережила длительный советский период, когда принцип отделения религии от государства толковался как безусловный примат (в том числе в образовании) атеистической идеологии («научного атеизма»). Современное законодательство ставит на пути такого толкования норму идеологического плюрализма (ст. 13 Конституции). В отношении религиозного образования наше законодательство принадлежит к числу наиболее либеральных: согласно с. 5, п. 4

«По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы».

Вышеприведенное право оставляет непроясненным важное обстоятельство. В качестве кого в этом случае выступает администрация? В качестве хозяйствующего субъекта (владельца или арендатора школьного здания), или в качестве образовательного учреждения? Еще больше споров вызывает практика изложения вопросов, связанных с религиями, на уроках по различным предметам государственной (т.е. светской) образовательной программы. Причем критика идет с двух сторон: как со стороны сторонников секуляризма в тех случаях, когда они подозревают скрытое религиозное воспитание под видом гуманитарного образования, так и со стороны представителей религиозных объединений, квалифицирующих некоторые «светские» варианты преподавания религиозного материала как профанацию или как скрытую проповедь чужих конфессий.

Особый случай, типичный именно для этнически ориентированных школ, составляет такой предмет из состава «этнокультурного компонента», как *традиция*. Не будучи регламентирован никакими стандартами, этот предмет во многих случаях фактически представляет собой религиозное воспитание, но в формах, завуалированных невнятной терминологией. Этот же случай особенно ярко демонстрирует объективную трудность, заложенную в императиве разделения религиозного и нерелигиозного в культурах, выросших на религиозной основе³.

Ситуация с религиозными темами в содержании светского образования является, таким образом, проблемной и требующей исследования (включая

³ См., например, материалы дискуссий о преподавании «традиции» в одной из московских еврейских (государственных) школ (Проблемы еврейской школы... 2000).

мониторинг реального воздействия школьного образования на духовное развитие ребенка) и всестороннего, честного обсуждения.

4.3. Несмотря на очевидную актуальность для полиэтнической, многокультурной России такой образовательной задачи, как образование человека, способного к межкультурному общению, к адекватному поведению в полиэтнической, культурно разнородной среде, этот аспект образования не получил в России практически никакого развития.

Этому суждению не противоречит появление в последнее время школьных учебных курсов этнологии – типа разработанного лабораторией МИРОС в рамках программы ЮНЕСКО: «Развитие национальной школы» курса «Культуры и языки народов России». Многокультурное образование не сводится к знаниям о чужих культурах, хотя и включает их в свое содержание.

Не решает полностью этой задачи и тот подход к «мультикультурному образованию», который практикуется в странах Запада, прежде всего в США. Там под «мультикультурным образованием» понимают общую ориентацию образования и всей школьной среды на воспитание толерантности, готовности к принятию других культур, освобождение от стереотипов и т.п. качеств и установок⁴. И хотя можно сказать, что воспитание таких качеств и установок необходимо, но оно не достаточно для формирования средств и методов полноценной коммуникации и творческой кооперации между представителями разных народов и культур.

Как уже говорилось в другом контексте, полиэтничность России и многих ее регионов (в том числе в очень высокой степени Поволжья) требует и многокультурного образования.

Региональная, полиэтнокультурная ориентация образования означает и включение в содержание образования краеведческого материала, относящегося к

- природе региона (не только «красот», но и мест экологического бедствия),
- его истории (использование в образовании местных памятников, сакральных мест, а также местных учреждений, работающих с историческим наследием – архивов, музеев и т.д.)
- современным характеристикам состояния региона, возможностям, которые он предоставляет для труда и личного роста.

Стоит еще выделить возможности использования визуально-антропологических материалов для целей многокультурного образования, как в условиях самих школ, так и вне школы, например, в учебных программах СМИ.

5. Проводимая в РФ образовательная реформа нуждается в последовательной и взвешенной государственно-образовательной политике, способной организовать такое управление развитием национально-школьной сферы, которое бы избавила НШ и от последствий советского администрирования и унифика-

⁴ См. (Дмитриев 1999) и многообразные материалы по этой тематике, которыми изобилует Интернет.

ции школьного образования и от тех перекосов суверенизации образования, которые стали характерны для постсоветского периода ее развития.

В свою очередь, управление развитием национально-школьного образования, как и любое управление развитием нуждается в полнообъемном знании современного положения НШ; отрелфлексированных, развернутых, обоснованных и общественно поддерживаемых образовательных идеалах, способных его целенаправлять; в прогнозных вариантах стихийной эволюции НШ в русле уже сложившихся механизмов; в мониторинге реально происходящих изменений; в концепции политики достижения выдвинутых идеалов и организации управленческих воздействий на НШ-сферу, направляющих ее в сторону выдвинутых идеалов. Но прежде всего оно нуждается в взвешенной, полнообъемной и пользующейся общественной поддержкой *программе развития*.

Одним из инструментов, способных интегрировать информационно-аналитическое обеспечение образовательной политики на федеральном уровне и уровне федерального округа, могла бы стать база данных «Национальная школа» (возможная структура такой БД представлена в Приложении I).

Анализ управленческих документов (в частности, представленный в образцах заполнения прилагаемой структуры) показал, что в настоящее время ситуация с НШ в России не управляется и декларированная образовательная реформа также обречена на неудачу, как и те, что ей непосредственно предшествовали (см., в частности, Приложения II и III).

Литература

- Баскаков А.Н., Насырова О.Д. Языковые ситуации в тюркоязычных республиках Российской Федерации (краткий социолингвистический очерк) // Языки Российской Федерации и нового зарубежья: Статус и функции. М., 2000 (готовится к печати).
- Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. М., 1997.
- Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. М., 1999.
- Дьячков М.В. Миноритарные языки в образовании (Типология языковой политики) / Общество и образование в современном мире. Сб. материалов из зарубежного опыта. Вып. 5. М., 1995.
- Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М., 1999.
- Проблемы еврейской школы в постсоветской России. М., 2000.
- Степанов В.В. Необходим закон об охране этнокультурной среды // Юридическая антропология: Закон и жизнь. М., 2000. С. 154-171.
- Multilateral evaluation of history and social studies teaching material: Report of the UNESCO project on multilateral evaluation of secondary school history and social studies teaching material and curricula in the light of the UNESCO Recommendation concerning education for international understanding, cooperation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. Helsinki, 1983.

База данных

**Проблемы национальной школы (НШ) в РФ
(проект)**

- I. НШ как идея и идеал
- II. Ситуация с НШ в настоящее время
- III. Прогнозируемое состояние НШ в ближайшем будущем
- IV. Программы развития НШ
- V. Мониторинг НШ-пространства

I. НШ как идея и идеал

Образовательная политика развития НШ (федеральное/региональное ОРУ)

концепция

программа

планы

обеспечение

Место и назначение НШ в обществе (федеральный/региональный уровень)

НШ и национальная культура

НШ и социально политическая жизнь

НШ и социально-экономическая жизнь (рынки труда, занятость, рабочие места и т.п.)

Место НШ в системе образования

образовательное ОРУ НШ

НШ и другие образовательные учреждения и (ВУЗы, техникумы, профучилища и т.п.)

связи и процессы взаимодействия (внутри- и межрегиональные, международные и т.п.)

школьная демография

Типы и уровни образования в НШ

Содержание образования (по уровням)

образовательные стандарты (модели выпускников) — мировоззрение, образованность, профессионализм, национальное самосознание, социальная активность

программы, учебные предметы, учебные планы

учебники, учебные пособия

Педагогический процесс в НШ

дидактическое обеспечение (закономерности, принципы, условия, факторы и т.п.)

методическое обеспечение (образовательные технологии)

информационно-техническое обеспечение

организация подпроцесса (виды, формы, способы, мотивирование и т.п. учебно-воспитательного процесса)

оценка качества (тестирование, экспертиза, аттестация)

НШ как образовательная система

педаколлектив

школьный коллектив

организация школьной жизни (взаимодействие педагогов и учащихся)

Социальное обеспечения деятельности НШ

информационное

кадровое
методологическое и научное
финансово-материальное
правовое

Зона ближайшего развития образовательного пространства

экспериментальные площадки
инициативные образовательные проекты
альтернативное образование

PR в образовательной политике

II. Ситуация с НШ в настоящее время

Образовательная политика развития НШ (федеральное/региональное оргуправление)
концепция; программа; планы; обеспечение

Место и назначение НШ в обществе (федеральный/региональный уровень)

НШ и национальная культура, социально-политическая жизнь, социально-экономическая жизнь

Место НШ в системе образования

образовательное ОРУ; образовательные учреждения; связи и процессы взаимодействия;

школьная демография:

- языки школьного обучения
- НШ и этногеография
- НШ по типам и уровням образования
- статистика школ и школьников

Типы и уровни образования в НШ

Содержание образования (по уровням)

- образовательные стандарты; программы, предметы, планы; учебники, пособия*
- федеральный компонент
 - региональный компонент (язык, история, литература, фольклор и обычаи, религии)
 - единство образовательного пространства
 - конфликты региональных культур и поликультурность

Педагогический процесс в НШ

дидактическое, методическое, информационно-техническое обеспечение; организация педпроцесса; оценка качества

- этнопедагогика
- качество НШ-образования

НШ как образовательная система

педколлектив, школьный коллектив; организация школьной жизни

портрет школьника НШ:

- образовательная самооценка
- уровень самосознание (в том числе национальное)
- базовые ценности и нравственные установки
- активность и социальная адаптированность
- коммуникативность
- творческие способности
- рефлексивные способности
- личностная зрелость
- физическая зрелость

портрет преподавателя НШ:

- базовая профессиональная подготовка
- общий уровень профессионализма
- отношение к своей профессии
- образованность
- мотивированность к профессиональному росту
- педагогические способности
- социально-личностная зрелость

Социальное обеспечения деятельности НШ

информационное, кадровое, методолого-научное, финансово-материальное, правовое

Зона ближайшего развития образовательного пространства

экспериментальные площадки; образовательные проекты; альтернативное образование

PR проводимой образовательной политики и результатов ее реализации

III. Прогнозируемое состояние НШ в ближайшем будущем

Место и назначение НШ в обществе (федеральный/региональный уровень)

НШ и национальная культура, социально-политическая жизнь, социально-экономическая жизнь

Место НШ в системе образования

образовательное ОРУ; образовательные учреждения; связи и процессы взаимодействия;

школьная демография

Типы и уровни образования в НШ

Содержание образования (по уровням)

образовательные стандарты; программы, предметы, планы; учебники, пособия

Педагогический процесс в НШ

дидактическое, методическое, информационно-техническое обеспечение; организация педпроцесса; оценка качества

НШ как образовательная система

педколлектив, школьный коллектив; организация школьной жизни

портрет школьника НШ:

портрет преподавателя НШ:

Социальное обеспечения деятельности НШ

информационное, кадровое, методолого-научное, финансово-материальное, правовое

Зона ближайшего развития образовательного пространства

экспериментальные площадки; образовательные проекты; альтернативное образование

PR в образовательной политике

IV. Программа развития НШ (управление развитием)

Определение граничных условий

Основные направления, ориентиры и установки федеральной программы развития национального образования в РФ

Региональных программы развития национального образования

Концепция национально-образовательной политики (округ/регионы)

Организация процесса программирования

Проектирование

Мониторинг

Анализ ситуации

Прогноз

Программирование шага развития

Тематизация

Проблематизация

Планирование

ОРУ

PR

V. Мониторинг

Информационная вертикаль (РФ — Округ — Регион)

Принципы и структура БД

Организация мониторинга

Сбор и анализ информации

Информационная политика

Интернет-средства PR

СМИ

Акции (выставки, экспозиции, фестивали...)

Изучение общественного мнения

Приложение II

Аналитическая оценка

Федеральной программы развития образования

1. «Решение Правительства Российской Федерации (протокол от 31 марта 1994 года № 5) об одобрении проекта Федеральной программы развития образования, отобранного по результатам проведенного конкурса и доработанного Министерством образования Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию, Министерством экономики Российской Федерации с участием Министерства финансов Российской Федерации согласно поручению Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № БФ-П5-11430...

В 1994—1999 годах мероприятия Программы осуществлялись по проекту, одобренному Правительством Российской Федерации...

В 1994—1999 годах проектом Программы был предусмотрен переход к сбалансированному развитию системы образования в новых политических и социально-экономических условиях. Основными целями указанного этапа было определить и осуществить комплекс мер, направленных на сохранение системы образования, реализовать программу структурно-содержательных преобразований, создать нормативную правовую базу, механизмы изменений и развития системы образования. На этой основе планировалось осуществить дальнейшее всестороннее развитие системы образования...

Реализация поставленных целей в полной мере не была достигнута в связи с трудностями экономического и организационного характера.

Итак, 6 лет осуществлялся «комплекс мероприятий»... Казалось бы, новую Программу нельзя запускать без детальнейшего анализа «мероприятий» этих шести лет и достигнутых в их ходе результатов и совершенных ошибок.

У нас в стране оказывается можно, и достаточно, сказать: «Реализация поставленных целей в полной мере не была достигнута в связи с трудностями экономического и организационного характера».

И самое интересное, что по крайней мере в отношении организационного характера трудностей это совершеннейшая правда: основная трудность у нас – это абсолютная организационная немощь людей, отвечающих за организацию, и прогрессирующая «разруха в головах» как организаторов, так и исполнителей (в качестве иллюстрации см. Приложение III).

2. «При этом в 2000 – 2001 годах намечается осуществить комплекс мер по сохранению и поддержанию системы образования и подготовить условия для ее последующего развития. Важнейшими направлениями реализации Программы в указанные годы являются предотвращение кризисных процессов в системе образования, принятие неотложных мер по нормализации работы образовательных учреждений независимо от их форм, типов и видов, системы образования в целом, совершенствование нормативной правовой и статистической базы в области образования, реструктуризация системы подготовки специалистов».

Итак, то, что планировалось сделать за 6 лет, теперь планируется сделать за 2 года!

А ведь ситуация за это время несравненно ухудшилась, а средство, методы и, главное, кадры остались те же. С такой системой, как система образования «по щучьему велению» ничего не сделаешь.

3. «В 2002—2005 годах предполагается перейти к устойчивому эволюционному развитию системы образования, удовлетворяющей интересам и потребностям личности, общества и государства».

Авторы Программы не понимают, что либо система образования эволюционирует, либо ее развивают, управляя ей, а «эволюционное развитие» – это нонсенс по понятию.

Они не понимают также, что «сохраненная» и «поддержанная» система образования в принципе не может уже решать стоящие перед РФ задачи. Необходим переход на кардинально новую парадигматику. Так спрашивается, зачем сохранять и поддерживать – с такими усилиями! – то, что уже отжило и эффективно функционировать не может?

4. Главная цель Программы – развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности и в качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества на основе провозглашенного Российской Федерацией приоритета образования.

При этом разработка содержания образования, без которой главной цели не достичь, занимает лишь скромное 7-е место в перечне «Основных мероприятий», после, скажем, «формирования и реализации экономических механизмов развития СО», после «введения и реализации преемственных государственных стандартов».

Сначала разработаем механизмы неизвестно чего, потом – стандарты неизвестно чего, а уж затем займемся «содержанием» образования!

«Основных» мероприятий получилось 23 – на большее фантазии не хватило.

5. «Раздел I. Состояние и основные проблемы развития системы образования. Подраздел I. Краткая характеристика уровней системы образования».

Здесь все исключительно благополучно: расширяется, совершенствуется, формируется, развивается, возрастает, четко обозначается и т.п.

«Раздел I. Состояние и основные проблемы развития системы образования. Подраздел 2. Проблемы образования».

Вместо анализа собственно *проблем* образования в этом подразделе дается весьма неполное и смазанное *описание ситуации*, причем с фокусировкой на инфраструктуру.

Основной причиной кризисных ситуаций в СО объявляется неуловительность финансирования, а также неполнота «нормативной правовой базы».

В перечне дестабилизирующих факторов отсутствует непроработанность содержания образования.

Для авторов Программы что цели, что проблемы, что неудовлетворительность ситуации (разрывы, рассогласования), что прямые нарушения – все едино.

Жесткий анализ ситуации, включающий выявление реальных причин и рефлексию деятельности ответственных исполнителей подменяется вербализованным потоком сознания – в качестве прикрытия. Все представлено как естественный процесс, которым МО не управляет. МО не считает себя ответственным за ситуацию. А основные показатели функционирования системы для МО сводятся исключительно к количеству образовательных учреждений и численности обучающихся (см. таблицу в Программе).

Но если отбросить все ситуационное и вторичное, то из текста-прикрытия можно выделить некоторые действительные «показатели», характеризующие катастрофичность ситуации:

«Достижение современного уровня содержания общего образования, гуманизация, ориентация на развитие личности, формирование системы жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культуры являются наиболее важной проблемой.

... Растет угроза нарушения единства образовательного пространства в части обучения русскому языку как государственному языку.

... Увеличиваются различия федеральных и национально-региональных компонентов стандартов гуманитарных дисциплин.

... Проблемами остаются отсутствие необходимой преемственности уровней дошкольного образования и начального общего образования, а также начального общего и основного общего образования, появление многопредметности в начальной школе. Усугубляются проблемы разрыва преемственности уровней общего образования и высшего профессионального образования. На протяжении ряда лет уменьшается количество выпускников средней школы, способных выдержать вступительные экзамены в высшие учебные заведения без дополнительной подготовки.

... Имеет место не регулируемое государством увеличение выпуска вариативных учебников, часто низкого качества, хотя в ряде субъектов Российской Федерации многие школы не обеспечены учебниками по предметам базисного учебного плана.

... Положение с изданием учебников по предметам федеральных и национально-региональных компонентов государственных образовательных стандартов становится критическим. Не обеспечен высокий уровень российского гуманитарного образования. Проблемы совершенствования содержания учебной литературы, приведения содержания учебников истории, обществознания, литературы в соответствие с уровнем указанных наук и российскими традициями нравственно-эстетического и гражданско-патриотического воспитания обучающихся и воспитанников являются наиболее актуальными.

... В целом остается проблемой кадровое обеспечение образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников образовательных учреждений всех типов и видов, недостаточно молодых специалистов вследствие низкого уровня оплаты труда и социального престижа профессии педагога, слабой социальной защищенности педагоги-

ческих и научно-педагогических работников образовательных учреждений.

... Ухудшается положение с подготовкой кадров для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в районах Крайнего Севера, на Дальнем Востоке и в Сибири. Обеспечение прав граждан, проживающих в сельской местности, на получение качественного образования является особенно большой проблемой.

... Увеличение количества негосударственных образовательных учреждений всех уровней образования создало проблему необходимости усиления государственного и общественного контроля их деятельности, качества предлагаемого образования. ... Органы управления образованием в субъектах Российской Федерации в силу ряда причин слабо влияют на ситуацию в указанных образовательных учреждениях. Периодичность аттестации образовательных учреждений раз в пять лет не дает достаточной гарантии обеспечения качественного образования.

... По общим показателям доступа молодежи к профессиональному образованию и получению такого образования Россия существенно отстает от многих стран мира. Более того, в последние годы обозначилась тенденция снижения уровня образования всего населения».

Все это говорит о том, что управление отсутствует как таковое, ибо 8 лет (1992–1999) вполне достаточно, чтобы принципиально изменить **направление изменения** ситуации – даже при плохом финансировании.

В описании ситуации упор делается на финансово-правовую критическую ситуацию, а на самом деле это управленческая катастрофа в системе образования.

6. То, что декларируется как программа в действительности представляет собой малоосмысленную пустографку для легко взаимозаменяемых «целей, задач, направлений, ожидаемых результатов, графы которой фиктивно-демонстрационно заполнены набором штампов: реализация, совершенствование, развитие, сохранение, разработка, восстановление, расширение, обеспечение и т.д.

Можно все это тасовать и переставлять как угодно – ничего не изменится.

Например:

«Обеспечение конституционных прав граждан на получение образования» – это цель, задача, направление?

Ничего подобного: это **ожидаемые результаты!**

А «реализация, совершенствование и развитие нормативной правовой базы»? Это ожидаемые результаты?

Нет! Это основное направление работ!

7. Особенно отчетливо фиктивный характер Программы проявляется в разделе VI – «Система мероприятий». Каковы же эти мероприятия? А «мероприятия» эти – просто-напросто императивы:

- Разработать
- Обеспечить
- Ввести
- Восстановить
- Развить
- Сформировать и т.д.

Естественно, что ответственными исполнителями подобных «мероприятий» могут быть только безликие (и потому совершенно безответственные!) «органы государственной власти», «органы местного самоуправления» и т.д. – по всем «мероприятиям» одни и те же «исполнители».

Характерный конкретный пример:

«1.1.4. Ввести и обеспечить реализацию преемственных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ, содержащих федеральные компоненты для всех уровней системы образования, в том числе дополнительное профессиональное.

Сроки реализации: 2000 г.

Ответственные исполнители - органы государственной власти, включая государственные органы управления образованием; органы местного самоуправления, включая местные (муниципальные) органы управления образованием; академии наук; объединения системы образования; организации системы образования».

На дворе у нас ноябрь 2000 г. ! Стандарта как не было, так и нет! О каком «введении» и «реализации» может идти речь?!

8. Согласно «Положению о Министерстве общего и профессионального образования Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1997 г. N 395, «Минобразование России в соответствии с возложенными на него задачами ...разрабатывает и реализует *концепцию развития образования*, а также федеральную программу развития образования, устанавливает федеральные *требования к содержанию образования* ... осуществляет *комплексный анализ и прогнозирование тенденций развития* сферы образования»

Если бы оно действительно этим занималось в течение трех лет (1997–1999), мы бы не имели той катастрофической ситуации, в которой мы пребываем, и совсем другой была бы Программа.

9. В целом напрашивается вывод: те, кто должны по функциональному месту осуществлять управление развитием системы образования, не представляют себе, что это такое, и просто тянут время.

Приложение III

Хроника

*событий и документов, связанных с принятием государственных стандартов для общего образования*⁵

1992

Закон об образовании

Статья 7. Государственные образовательные стандарты

1. В Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты, включающие федеральный и национально-региональный компоненты.

Российская Федерация в лице федеральных органов государственной власти в пределах их компетенции устанавливает федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, определяющие в обязательном порядке обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.

2. При реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в развитии могут быть установлены специальные государственные образовательные стандарты.

⁵ Составители Хроники признательны директору школы № 1060 А.А.Пинскому за сообщение ряда сведений по обсуждаемому вопросу.

3. Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных стандартов определяется Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4. Государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливается федеральным законом.

5. Государственные образовательные стандарты разрабатываются на конкурсной основе и уточняются на той же основе не реже одного раза в десять лет. Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации.

6. Государственные образовательные стандарты являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.

1993

Конституция РФ

Статья 43

1. Каждый имеет право на образование.

...

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.

1994

Постановление Правительства РФ (№ 174 от 28.02.94)

«Порядок разработки, утверждения и введения в действие федеральных компонентов государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования»

1995

Проект московских образовательных стандартов

(рук. проекта В.Фирсов, научн. консультанты А.Абрамов, А.Семенов)

1996

Приказ министра образования (№ 27-М от 14.06.96)

«О реализации Базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях»

... Федеральный компонент Базисного учебного плана дал возможность сохранить в условиях отсутствия утвержденных государственных стандартов единое образовательное пространство в России.

Реализация регионального компонента позволила большинству регионов России создать учебники и программы, учебные курсы, раскрывающие национальные, культурные особенности региона, историю и географию малой родины. При этом региональные органы управления образованием рекомендуют образовательным учреждениям изучать эти курсы в контексте с соответствующими курсами федерального компонента Базисного учебного плана, не увеличивая количество предметов, не создавая большого числа одночасовых курсов.

Использование в учебном плане школьного компонента позволило каждой школе создать свое неповторимое «лицо», обеспечить индивидуальный характер развития

школьников в соответствии с их склонностями и интересами. <...>
В связи с тем, что в настоящее время Министерством образования разрабатывается проект Федерального закона «О государственных образовательных стандартах основного общего образования», просим высказать свои предложения по совершенствованию Базисного учебного плана.

Министр Е.В.Ткаченко

Конкурс проектов госстандарта для основного общего образования

Победитель конкурса – проект РАО.

1997

Приказ министра образования и президента РАО (№ 910 от 15.05.97)

«О доработке проекта федерального закона Российской Федерации «Государственный образовательный стандарт основного общего образования»

Во исполнение решения коллегии Минобразования России от 25 декабря 1996 г. № 4/1 «По проекту федерального закона Российской Федерации «Государственный образовательный стандарт основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить состав рабочей группы по доработке проекта федерального закона Российской Федерации «Государственный образовательный стандарт основного общего образования» (приложение).

2. Руководителю рабочей группы Г.К.Шестакову:

- организовать широкое обсуждение проекта закона в ряде субъектов Российской Федерации;

- представить доработанный проект федерального закона Российской Федерации «Государственный образовательный стандарт основного общего образования» на рассмотрение в Минобразование России к 15 июня 1997 года.

3. Считать утратившим силу приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 05.12.96 N 426 «О стандартах общего образования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.Г.Асмолова и главного ученого секретаря РАО Н.Н.Нечаева.

Министр

В.Г.Кинелев

Президент

А.В.Петровский

Приложение Состав рабочей группы по доработке проекта федерального закона Российской Федерации «Государственный образовательный стандарт основного общего образования»

1. Шестаков Г.К. – руководитель, начальник Управления образовательных стандартов и программ Минобразования России

2. Байденко В.И. – заместитель начальника Управления гуманитарного образования и развития личности Минобразования России

3. Буслов Е.В. – эксперт Комитета Совета Федерации по вопросам науки, культуры и образования

4. Водянский А.М. – заместитель начальника Управления общего среднего образования Минобразования России

5. Дик Ю.И. – заместитель директора по научной работе Института общего сред-

него образования РАО

6. Логинова О.В. – вице-президент научно-педагогического объединения «Образование для всех»

7. Максимов Н.И. – первый проректор Московской государственной текстильной академии

8. Поляков В.А. – директор Института общего среднего образования РАО

9. Рыжаков М.В. – директор Национального центра стандартов и мониторинга образования

10. Решетников Н.Н. – проректор по научной работе Московского областного института повышения квалификации работников образования

11. Смолин О.Н. – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию, культуре и науке

12. Татур Ю.Г. – главный научный сотрудник Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов

13. Фирсов В.В. – президент научно-педагогического объединения «Образование для всех»

14. Глейзер Г.Д. – академик-секретарь Отделения общего среднего образования РАО

15. Каспржак А.Г. – директор Московской городской педагогической гимназии N 1505, председатель Ассоциации новых школ и центров

16. Лебедев О.Е. – член-корреспондент РАО, профессор, зав. кафедрой Санкт-Петербургского университета педагогического мастерства

17. Дашинская З.П. – начальник юридического отдела Управления по обеспечению законотворческой деятельности и связям с общественными организациями Минобразования России

О дополнении к приказу № 990 от 23.05.97

В связи с изменением объема работ по целевой комплексной программе (ЦКП) «Государственный стандарт в системе непрерывного образования»

1. Включить в состав дирекции ЦКП Б.Ф.Петина, главного специалиста Управления образовательных стандартов и программ.

2. Включить в состав головного совета ЦКП Л.И.Романкову, ученого секретаря НИИ высшего образования Минобразования России.

3. Исключить из состава дирекции ЦКП В.А.Белова в связи с изменением места его работы.

Первый заместитель министра В.Д.Шадриков

1997

Письмо замминистра В.Д.Шадрикова (№ 974/14-12)

«Об обязательном минимуме содержания образовательных программ основной общеобразовательной школы», предписывающее школам руководствоваться «минимальным содержанием» до утверждения госстандарта (в августе опубликовано в «Учительской газете»).

Статья министра В.Г.Кинелева в газете «Первое сентября», где о письме замминистра сказано, что это «не рекомендация, тем более не обязательные шаблоны», а лишь «материал, который будет в течение двух лет прорабатываться, с учетом предложений и замечаний педагогической общественности»

1998

Приказ министра образования (№ 322 от 09.02.98)

«Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»

В целях обеспечения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить одобренный коллегией Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и согласованный с Министерством здравоохранения Российской Федерации Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приложение).

2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации с 1 сентября 1998 г. использовать Базисный учебный план как основу при разработке примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

Приказ министра образования (№ 1235 от 19.05.98)

«Об утверждении обязательного минимума содержания основного общего образования»

В целях сохранения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.94 № 174 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и введения в действие федеральных компонентов государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый обязательный минимум содержания основного общего образования, доработанный по замечаниям и предложениям педагогической общественности и одобренные Федеральным экспертным советом по общему образованию Минобразования России

2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации довести до подведомственных образовательных учреждений общего образования обязательный минимум содержания основного общего образования.

3. Управлению общего среднего образования (Леонтьевой М.Р.) на основе обязательного минимума содержания основного общего образования в срок до 01.10.98 обеспечить разработку примерных образовательных программ основного общего образования.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра В.А.Болотова.

Министр А.Н.Тихонов

Обсуждение приказа в педагогической прессе, *негативные* отклики (см., например, открытое письмо министру директора школы № 1060 А.А.Пинского в газете «Первое сентября», 2.06.98)

Приказ министра образования (№ 1567 от 11.06.98)

... Органам управления образованием субъектов РФ принять к сведению, что обязательный минимум содержания начального общего образования и временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования, утверж-

денные приказами Минобразования РФ от 19.05.98 № 1235 и от 19.05.98 № 1236, не являются государственными образовательными стандартами и не могут быть использованы при предъявлении требований к уровню подготовки учащихся, аттестации педагогических работников и общеобразовательных учреждений ...

1999

Приказ министра образования (№ 560 от 30.06.99) «Об утверждении обязательного минимума среднего (полного) общего образования»

В целях сохранения единого образовательного пространства на территории Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.94 № 174 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и введения в действие федеральных компонентов государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и начального профессионального образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования, доработанный по замечаниям и предложениям педагогической общественности и одобренный Федеральным экспертным советом по общему образованию Минобразования России.
2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации довести до подведомственных общеобразовательных учреждений обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования.
3. Департаменту общего среднего образования (Леонтьевой М.Р.) на основе обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования в срок до 01.10.99 обеспечить разработку примерных образовательных программ среднего (полного) общего образования.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра А.Ф.Киселева.

Министр В.М. Филиппов

2000

Проект Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан на общее образование», подготовленный фракцией Яблоко, где ряд статей относится к госстандарту.

В.Р.Рокитянский

Околотрадиционные заметки

В 5-м выпуске «Этнометодологии» был опубликован «Мир традиций», точнее первая часть («Традиция – строение и метаморфозы») задуманной работы под таким названием. Ни вторая часть (о «встрече традиций»), ни третья (о традиционализме в образовании) так и не были написаны в сколько-нибудь законченном виде. Не получилось: то, что на подступах к теме казалось достаточно ясным – сядь и запиши, при углублении в нее все более теряло четкость очертаний и простоту структуры. Поскольку же думать над этим кругом вопросов я продолжал, постольку имею на данный момент некоторые следы этого думанья, каковые и печатаю. Надеюсь, что некоторое единство взгляда в них присутствует и может быть усмотрено.

Поскольку та, первая статья, читателю этих заметок может быть недоступна, приведу кое-какие из нее выдержки – перед началом «Заметок» и на тех местах, где принято ставить эпитафьи.

И еще пояснение. Как-то при обсуждении этой темы, мне в порядке критики было сказано, что у меня, мол, так получается, что все что ни на есть – традиция, что нет ничего, кроме традиции. Так и есть, отвечаю я, но в определенной перспективе – традиционной (или, если угодно, традиционалистской). Реальность, мир, его движение во времени и являются в этой перспективе традицией («мир как традиция»). И все в мире суть ответвления этой «мировой» традиции – частные и специальные, переживающие свой расцвет и вырожденные, открытые будущему и тупиковые, подлинные и лжеименные...

Традиция неоднородна. У полной, невырожденной традиции есть ее внутренние области, ядро, сердцевина, с одной стороны, и внешние слои, периферия, с другой. Ближайший смысл этой пространственной метафоры вполне прозрачен: внутреннее более сокрыто, труднее для усмотрения и понимания; открыта же взгляду извне традиция, напротив, внешними своими сторонами.

*Но содержательное наполнение указанной структурности этим не исчерпывается. Раскрывая его далее, нужно еще сказать, что сердцевина выполняет в ней смыслоносную и смыслопорождающую функцию: сюда мы в конечном счете обращаемся в поисках смысла и оправдания – *raison d'être* – всех слагаемых традиции и ее в целом.*

И это не все. Оппозиция «внешнее – внутреннее» несет в себе еще и аксиологический смысл: внутреннее ценнее внешнего.

Можно, наконец, сказать, что названные смыслы поглощает в себе (с привнесением, впрочем, некоего важного до-

полнительного смысла) различие сакрального и профанного. Мы, таким образом, видим традицию как состоящую из сакрального ядра, святыни – **сакрума**, окруженного профанной периферией, **профанумом**.

И та, и другая составляющие необходимы для полноценного бытия традиции. Сакрум, как уже было сказано, несет в себе *raison d'être*, конечный смысл традиции и наделяет этим смыслом профанные составляющие, которыми обеспечивается ее актуальное существование. Сакрум – душа традиции; профанум – ее тело (1.1.1).

Процессы дифференциации и диверсификации, с одной стороны, и автономизации, с другой, приводят к появлению внутри традиции-универсума относительно независимо традируемых областей – частных и специальных **субтрадиций** различной степени профанированности (1.5.6).

Автономизированные области традиции, сохраняющие – наподобие фантомных болей – память об утраченных сакральных функциях в составе целого, к которому они принадлежали, стремятся обзавестись заместителями этих функций. Так рождаются псевдоморфы, суррогатные, живущие заемным пафосом формы традиции, ее отдельных составляющих и аспектов... (1.5.8).

Созерцание и деятельность

Сакрум – и традиции в целом, и всякой выделяемой внутри нее сущности – окружен («окутан») профанной оболочкой, которая и **скрывает** сакральный смысл, и **открывает** его внешнему взгляду. Всякий предмет из окружения сакрума, воспринятый в своем знаковом к нему отношении, отношении сокрытия-откровения, и есть **символ** сакрума. Поскольку же вся профанная толща традиции может быть рассматриваема как окружение сакрума, вся традиция и всё в традиции оказывается символическим в отношении сакрума, символизирует его (1.2.6).

Деятельность в своем первичном, сакроцентрическом слое подчинена *raison d'être* традиции – служению святыне, т.е. сохранению, воспроизводству и восстановлению верного к ней отношения. Все остальное в деятельности вторично, и либо обслуживает эту первичную функцию, либо (в извращенных и вырожденных вариантах) мешает ей (1.4.3).

Из двух оппозиций, введенных в философский оборот Карлом Марксом, вовсе не та, которой он присвоил титул «основного вопроса философии», ка-

жется мне подлинно важной, подлинно «основной», а сделанное им противопоставление активности, деятельной позиции, установки на изменение мира, с одной стороны, и рецептивности, созерцательности, установки на понимание и объяснение мира, с другой (первый из «Тезисов о Фейербахе»). Здесь, и правда, затронуто коренное различие между двумя типами философствования и, шире, отношения к жизни.

В чем суть каждой из двух этих базовых установок?

Стоящий в активной позиции по отношению к миру есть человек, чего-то желающий, знающий, чего он хочет, и в соответствии со своим хотением (волей) действующий, изменяющий мир, переводящий его из состояния нежелательного или не вполне желательного в состояние, согласное с волей деятеля. Ему, конечно, тоже приходится и познавать, и понимать, и объяснять переделываемый им мир, но делает он все это, подчиняя вопросы, которые он адресуется миру, своим задачам и целям. Имея свой, его волею определяемый набор вопросов, он и добивается ответов на эти вопросы, получая таким образом знание о мире, нужное для его преобразования.

Иное – рецептивная позиция. Предельное выражение этой позиции означает как бы полное устранение своей воли из ситуации контакта с объектом, превращение себя в орган восприятия тех сообщений, которые от него исходят. Причем – это важно! – от объекта созерцания исходят не только ответы, но и сами вопросы: не то видим, слышим и познаем, что нужно нам по нашему произвольному разумению, а то, что изволяет сообщить созерцаемый объект.

Можно привести примеры, в которых названные установки присутствуют почти что в предельном своем выражении, выявляя, таким образом, свою логику, свой смысл.

Так, можно взять, например, ситуацию допроса, в которой следователь точно знает вопросы, ответы на которые он хочет получить, и допытывается этих ответов всеми доступными и допустимыми средствами. В некотором запредельном (если пределом считать рамки закона и профессиональную добросовестность) случае он знает не только вопросы, но и ответы, которые ему нужны, и допрос превращается в принуждение к даче нужных показаний, или же, если обратиться к другому аспекту запредельного активизма, выспрашивание превращается в пытку.

А вот в качестве противоположного примера можно всмотреться в ситуацию ученичества, в тот ее предельный случай, когда ученик не знает и не понимает *ничего* (или признает ничтожным все ранее познанное и понятное) и во всем полагается на учителя. Символическим выражением этой установки можно считать архетипическую позицию ученичества, ту позу, которая, как принято считать, дала название Упанишадам («сидеть около», т.е. у ног учителя).

Еще один пример предоставляет нам история взаимоотношений самой пытливой части человечества, европейцев, с неевропейскими, особенно «ди-кими», народами. В начале этой истории типичной позицией европейца была позиция предельно активная: он знал, что нужно ему и что нужно туземцу (если вообще принимал его нужды во внимание), и этого добивался – золота, обра-

щения в истинную веру или приобщения дикаря к благам цивилизации. К нашему же времени европеец (по крайней мере, европеец-этнограф) додумался до установки противоположной: его теперь заботит то, как увидит другого таким, каким он хочет себя показать, и услышать то, что он сам хочет сказать. Об этом много сказано и написано.

Можно рассматривать активную и рецептивную установки как прямо противоположные, отрицающие друг друга. Тогда, с учетом разной степени выраженности, эти установки можно представить на бесконечной координатной оси, где, скажем, положительным значениям будут соответствовать деятельные установки различной интенсивности, а отрицательным – рецептивные. Нулевую точку тогда придется интерпретировать как состояние бездействия и полной невосприимчивости, т.е. безжизненности.

Можно поступить иначе: рассматривать эти установки как взаимонезависимые переменные, т.е. (в геометрическом представлении) на ортогональных координатных осях, по которым и раскладывать всякую конкретную ситуацию взаимоотношения человека с миром – сиюминутную, долгосрочную или пожизненную.

Если первый, одномерный способ представления наглядно передает очевидную для здравого смысла противоположность активности и созерцания, то второй, двухмерный отдает должное тому не менее очевидному обстоятельству, что во всех действительных ситуациях – опять-таки сиюминутных, долгосрочных и пожизненных – можно усмотреть обе базовые установки, присутствующие одновременно или в чередовании друг с другом. Более того, способность к мощному деятельному усилию и способность к сосредоточенному вниманию и восприятию представляются не только совместимыми, но коррелирующими друг с другом, предполагающими друг друга. Достаточно вспомнить два столь несходных по образу жизни и мировоззрению человеческих типа, как революционер и аскет-подвижник. Первый, являя собой крайнее выражение активизма, нередко демонстрирует и готовность к преданнейшему, самозабвенному ученичеству (в отношении «вождя и учителя»); второй, будучи образцом созерцательного отрешения от деятельности, исполнен готовности к совершенному действию, которое немыслимо без напряжения всех сил его существа, – к аскетическому подвигу.

Но, оставаясь при двух ортогональных осях – активности и рецептивности, мы, понятное дело, не можем объяснить отмеченной корреляции. В самом деле, и человек «длинной воли»¹, стратег, посвятивший жизнь осуществлению проекта переустройства мира (завоеватель или революционер), и отшельник, годами пребывающий в молитвенном созерцании, все же имеют между собой нечто несомненно общее, отличающее их от «среднего человека». Для того, чтобы выявить и оценить это общее, нам понадобится еще одно, третье измере-

¹ Выражение «люди длинной воли» – из монгольского «Сокровенного сказания» о Темучине (Чингиз-хане), где оно означало особую категорию людей, отделившихся от родовой общины и устроивших свою жизнь самостоятельно (см. об этом Гумилев 1997: 213).

ние, которое, может быть, лучше всего передается характеристикой «это – личность» и ближайшим образом связано с внутренней свободой человека². «Средний человек» – не личность. Отсутствие у него этого качества, нулевое или ничтожно малое значение этого параметра приводят к тому, что овладевающие им (даже надолго) влечения и тревожащие его вопросы как бы не от него исходят и не ему принадлежат, будучи рефlekсами-отражениями внешних обстоятельств. Потому они случайны и хаотичны, а его движение не образует пути³.

Но и такое представление взаимоотношений между деятельностью и созерцанием не передает чего-то важного о них. Чего же?

Выше уже было сказано, что каждая из этих установок предполагает другую. Можно так развернуть это утверждение: предполагает как нечто необходимое для своего осуществления, включает в себя. В самом деле, деятелю, чтобы успешно перестраивать окружающую его жизнь, нужно иметь верное представление о ее предшествующем перестройке состоянии и о ее устойчивых, возможно, не подлежащих перестройке свойствах, т.е. нужно уметь всматриваться и видеть, вслушиваться и слышать. И наоборот, созерцателю, «ученику» реальности нужно все-таки иметь некую изначальную волю к познанию, некий свой перво-вопрос, хотя бы самого общего характера, такой, например, как «что есть истина?» или «как жить дальше?».

Если же теперь в порядке логической ретроспекции мы будем уяснять для себя все более глубокие основания наших действий и созерцаний – цели действий и объекты созерцаний, – задавая себе вопросы «для чего мне надо это сделать?» или «что мне надо увидеть (узнать, понять)?», отвечая на них и снова задавая очередной вопрос, определяемый ранее данным ответом, то мы получим уходящую в глубину нашего существа цепь последовательно обосновывающих друг друга установок, в которой, как можно предположить, для всякого созерцания отыщется более основоположное действие, которому это созерцание служит, а для того – более фундаментальная созерцательная задача: познаем, чтобы действовать, действуем, чтобы познавать. Обрывается эта цепь, очевидно, по достижении твердого дна нашей личной «аксиоматики сознания-воли»⁴.

Остается, однако, вопрос: на чем же она обрывается, что же составляет первичное основание наших действий и созерцаний, и (в контексте обсуждаемой темы) какого рода это основание, активно оно или рецептивно? Что же там

² Кое-что из того, о чем идет речь, передается жаргонным словечком «отвязанный». Мотив «личности» и «неличности» – сквозной в томасманновской «Волшебной горе». Однако все это окрашено той озабоченностью, которая прямо противоположна внутренней свободе (= личности).

³ О «среднем человеке» покойный Е.Л.Шифферс в одном из своих выступлений замечательно сказал, что он всю жизнь пережевывает ответы на вопросы, которых не задавал. В том же выступлении «среднему человеку» противопоставлен человек «однаправленной воли». Но – при том, что выражение «однаправленная воля» почти точный синоним «длинной воли» – Шифферс так характеризовал человека, подчинившего свою жизнь памятованию о смерти – занятию по внешним проявлениям скорее созерцательному, чем деятельному.

⁴ Понятие, введенное О.И.Генисаретским (см., например, *Генисаретский* 1995).

в конце, в основании – последний (первичный) объект или последняя (первичная) цель? Притом ясно, что ни последний объект не может быть обычным, определенным, т.е. ограниченным и частичным, объектом (иначе за ним мы могли бы усмотреть нечто, более фундаментальное), ни цель не может быть обычной, конкретной и определенной, целью, каковая всегда подчинена некоторой более фундаментальной цели...

Вопрос этот, как представляется, может быть и осмысленно поставлен, и в некотором общем виде решен в контексте оппозиции сакрального и профанного, традиционализма и профанизма. Для традиционного сознания последний объект – это, конечно же, сакрум, святыня традиции. И – по самому смыслу того места, которое занимает сакрум в традиции – верное отношение к нему есть отношение рецептивное: внимание к тому, что сакрум открывает – о себе и о внимающем. Рецептивно и всякое действие в отношении сакрума; это всегда служение, исполнение воспринятого в первичной рецепции задания.

И наоборот, профаническая эмансипация от сакрума приводит к тому, что последним основанием жизненной цепи действий и созерцаний становится первичный акт, который (если речь идет о действительно последнем основании) не может не быть актом самоутверждения.

Мы, таким образом, получаем возможность говорить о двух антропологических типах, характеризующих, соответственно, сакроцентрической (первично-созерцательной) и эгоцентрической (первично-деятельной) установками⁵.

Но поскольку человек свободен, установку можно сменить, хотя это, понятное дело, тем труднее, чем она привычнее, чем в большей мере пройденный уже путь ею определялся.

Совершенно очевидно, что все вышесказанное может быть вполне понято и тем более принято только при созерцательной установке.

Learning by heart

Сакральный смысл традиции в полноте своей непостижим и невыразим... (1.1.2).

Условием воспроизводства традиции является воспроизводство ее носителя, человека.

Это означает, помимо биологического воспроизводства, традирование совокупности тех качеств и условий, которыми обеспечивается исполнение человеком его сакрослужебных или профанных функций в традиционной деятельности.

Тот факт, что служение сакруму предполагает вовлеченность всего человека в целом, означает, что воспроизвод-

⁵ Возвращаясь к так и не вполне проясненному (отдаю себе в этом отчет) «личностному измерению» человека, скажу в этом месте, что становление, рост личности часто смешивают с самоутверждением, что является, хочу я подчеркнуть, суждением по меньшей мере односторонним (ср. сноску 3).

ство традиции требует сохранения и воспроизводства личностных образцов, индивидуальных и типизированных (1.4.4).

По самому смыслу того места, которое занимает сакрум в традиции – верное отношение к нему есть отношение рецептивное: внимание к тому, что сакрум открывает – о себе и о внимающем. Рецептивно и всякое действие в отношении сакрума; это всегда служение, исполнение восприятия того в первичной рецепции задания. (Созерцание и деятельность)

Что, собственно говоря, педагогически клеймится уничижительным наименованием «зубрежка», т.е. «воловья», тупая работа. Заучивание наизусть? Не совсем так; ведь никто, кажется, не возражает против запоминания стихов, а также, некоторых формул или формулировок – из математики и в других случаях, когда, с одной стороны, нужна точность, а с другой, когда важно держать заученное наготове, для скорого применения.

Безоговорочно осуждается заучивание *без понимания смысла* заучиваемого – его и называют «зубрежкой».

Когда-то было иначе: во всех древних традициях заучиванию некоторых важных текстов *прежде их понимания*, в расчете на последующее понимание (которое могло растягиваться на всю жизнь и так и не достигать полноты), отдавалось значительное место и придавалось большое значение.

«Они (ученики – В.Р.) должны совершенно механически усвоить себе на память запас всего достойного изучения, пока не наступит время, когда при посредстве пояснений учителя раскроется перед ними смысл всего пройденного» – это о традиционной китайской школе (просуществовавшей до начала XX века – Шмидт 1880: 140). «Сначала выучи наизусть, потом будешь понимать смысл», сказано в Талмуде (Brubacher 1947). А это об Индии: «Из всех санскар (ритуалов, знаменующих переход из одной фазы жизни в другую – В.Р.), имеющих место между рождением и браком, наиболее значительной является, конечно, завершающаяся вручением шнура церемония инициации, известная под названием *упанаяны*, ритуал, “подводящий близко” ученика к его гуру в поиске религиозных наставлений. ... В течение всего ведийского периода, а также в эпоху классического индуизма *упанаяна* считалась обязательным вторым рождением для всех “дважды рожденных” классов, т.е. для брахманов, кшатриев и вайшьев, получавших свои шнуры в 8, 11 и 12 лет соответственно. Второе рождение, скрепляемое священным шнуром, надеваемым на левое плечо, который связывал своего обладателя на всю жизнь, было переходом в новое состояние, имевшим большое коллективное и индивидуальное значение. ... В этот момент он становился звеном в бесконечной цепи передачи знаний и принимал на себя отведенную ему часть человеческой ответственности за поддержание космического порядка и соблюдение космических законов. ... До сих пор некоторые дети из особых брахманских семей следуют этой древней традиции. Они годами живут в доме своего гуру, заучивая наизусть ведийские тексты со слуха, по

одной строчке за урок, ежедневно повторяя ее до тех пор, пока вся Веда целиком или значительные части нескольких Вед прочно не отложатся в их памяти» (Найн 1996: 229-231).

Подтверждения тому, что такого рода практика существовала во всех традиционных культурах, находить столь нетрудно и сам этот факт столь общеизвестен, что мне достаточно о нем напомнить. А вот подход противоположный, он высказан в XIX веке А. Дистервегом (Дистервег 1956: 306):

«В чем заключается достойное использование учебников? В соблюдении трех требований.

Первое выражено в старом вопросе: “*Понимаешь ли ты, что читаешь?*”

Второй прием достойного применения книги заключается в том, чтобы дети *запоминали содержание учебников*. Мы вовсе не враги памяти, но мы заклятые враги отупения и нарушения правильного порядка. ... Сначала понимание, соответствующее природе изучаемого предмета и природе детей, затем удержание в памяти, а не наоборот...

Третьим требованием является обработка, применение, упражнение...».

Попробуем более обстоятельно вникнуть в этот – альтернативный заучиванию текста наизусть – способ «достойного использования» учебного текста. Это должно быть тем более нетрудно, что интуитивно он нам, разумеется, ближе и понятнее.

Итак, сначала нужно *понять* читаемое (или слышимое). Причем выражение «понять текст» в общепринятом современном употреблении есть сокращенная форма другого – «понять *содержание* или *смысл* текста», где содержание и смысл (как бы они ни понимались) есть нечто отличное от самого текста. Содержанию противопоставляют форму, про взаимоотношения текста и его смысла утверждается, что в тексте всегда есть главное, существенное для понимания его смысла, и второстепенное, несущественное. Для моих целей можно, кажется, не вдаваться в тонкости этого логико-философского предмета; достаточно вспомнить, что усвоение текста – того рода о котором идет речь, – предполагает выделение из состава текста чего-то, что признается содержанием, смыслом, существенным, и пренебрежение остальным. Поскольку же удерживаем в памяти для последующего применения мы тоже некий текст (необязательно словесный), постольку усвоение предполагает перевод, пересказ, переложение, перекодировку – в очищенном от ненужного и пригодном для сохранения в памяти и применения виде. «Ага, понял!» – говорю я себе, прочитав или услышав некий текст, и, если смысл для меня важен, проговариваю его про себя своими словами, или же тезисно или схемкой фиксирую понятое на бумаге. Перекодировка содержания текста выступает при этом и как средство усвоения, и как способ проверки усвоения.

Ясно, что такое усвоение-понимание текста носит всегда ограниченный – субъективно или ситуативно – характер. Оно обусловлено моим опытом и, что не менее важно, местом данного акта понимания в моей деятельности. Я подхожу к тексту с вопросами, вытекающими из решаемой мною в этот момент

задачи, и извлекаю из него ответы на эти вопросы.

Вспомним теперь, что цитированные суждения про заучивание наизусть относились к текстам и знаниям сакральным, а Дистервег говорит про учебники по обычным светским предметам и его возмущение направлено против «нарушения правильного порядка» именно применительно к такого рода знанию, усвоение которого без понимания того, как им пользоваться, – тут он очевидным образом прав – бессмысленно. Так может быть, эти подходы не отрицают друг друга, поскольку относятся к *разному*? В одном случае речь идет о сакральном знании, в другом – о знании профанном, инструментальном. Правда, чтобы принять мысль о сосуществовании и взаимодополнительности двух подходов, надо как минимум различать два рода знаний, а действительно ли существует для нас такое различие? Похоже, что нет: для профанного взгляда – а именно он является преобладающим в современном образовании – вообще не существует сакрального, а значит, вроде бы, и не должно быть такой ситуации, такого отношения к тексту, которое требует заучивания наизусть⁶.

Хотя и сейчас, как уже было сказано, кое-что все же заучивают.

Смысл какого-то явления лучше виден в полных, развитых формах этого явления, а не в формах редуцированных, неразвившихся или увядших. Соответственно, и образовательное назначение заучивания наизусть разумно исследовать на материале тех эпох, когда то, чему придавалось важнейшее значение, заучивалось и когда именно такого рода знание почиталось важнейшим и высшим. И если даже нас в первую очередь интересует не сакральное знание само по себе, то все же, произведя своего рода «распредмечивание» той, сакральной ситуации, мы, быть может, выявим какие-то резоны заучивания наизусть, которые сохраняют силу и за ее пределами.

Итак, сменим перспективу и рассмотрим, как обстоит дело в жизни невырожденной традиции.

Нам сейчас важны два обстоятельства из числа определяющих суть традиции, ее традиционность (в традиционалистском же понимании): то, во-первых, что все в ней подчинено сакруму, его «несению», трансляции сакрального содержания традиции, т.е. того, что и составляет резон ее существования, и то, во-вторых, что сакрум трансцендентен традиции, т.е. не поддается познанию, выражению, запечатлению, воспроизведению актуально наличными в каждый момент силами традиции, за счет активности ее носителей. Попадание в традицию сакрального мыслимо в этой перспективе лишь как результат активности самого сакрума, его самоизлияния в традицию, вливания в нее сакрального содержания. При этом можно различить два рода таких событий: то, единствен-

⁶ «Знания» человека традиционной культуры имеют для него неодинаковую ценностную значимость: практические («промысловые») навыки, секреты «тайных союзов» и, наконец, священные мифы – для него в сущности несопоставимы. Знания человека современной культуры лишены подобной ценностной окраски; он не проводит принципиального различия между, скажем, своими познаниями в области астрономии, умением водить автомобиль или владением иностранным языком» (Клочков 1983: 5-6).

ное, которым полагается начало самой традиции (первичная иерофания, или откровение), и частичные иерофании, как бы «инъекции» сакрального содержания в традицию, которые могут быть множественными и многообразными.

Нас ближайшим образом интересует запечатление сакрального в тексте, в священном тексте. Но ведь священный текст – тоже текст, а значит, можно говорить о его смысле и – по сути обсуждаемого – отличать смысл от «буквы» текста и, может быть даже, отличать главное в его содержании от второстепенного, привнесенного случайными обстоятельствами события иерофании. В какой-то мере это так и есть, и мы знаем, что сакральные тексты всегда толковались. Однако для традиционного сознания событие рождения такого текста всегда есть тайна и заключает в себе нечто, превышающее разумение, притом важнейшее, ибо наиболее таинственно как раз то, что ближе к сакральному источнику текста. И, в силу следующей из этого презумпции погрешимости толкователя, его интерпретация и то, что она может быть основана на каких-то частях текста и не учитывать другие или же придавать разным частям разное значение, никак не может «закрывать вопрос». Понятый смысл не равноценен не только тексту, мыслимому в его прагматической полноте, во всех возможных ситуациях его применения (это, как мы видели, всегда так, в силу ситуативности понимания), но и в каждом конкретном случае – мы не можем знать, насколько важно непонятое. Но это означает по меньшей мере то, что понимание священного текста оказывается длительной, в идеале пожизненной работой, в идеале же почти не прерывающейся работой. А что же может быть лучше для такой работы с текстом, нежели хранение его в памяти?

Итак, схематизирующему усвоению текста ради овладения его частичным, ситуативным смыслом противостоит усвоение текста в его буквальной полноте и целости, при котором какие-то важные составляющие смысла могут усаиваться в «упакованном», так сказать, виде, в расчете на «отложенное» понимание⁷.

Если продолжать вглядываться в феномен рождения сакрального текста, то наше внимание не может не привлечь фигура его «автора» – в том условном смысле, в каком это слово применимо к человеку (писателю или сказителю), физически «исполнившему» (написавшему или сказавшему) *такой* текст. Применяя (со всей возможной осторожностью) к этому случаю то, что нам знакомо из своего и чужого опыта авторства (никак не сакрального) и связанных с ним переживаний, мы можем предположить, что и событие текстовой иерофании, т.е. запечатления сакрального откровения в тексте, физически доступном для нашего восприятия, опосредовано определенным душевным состоянием автора – даже и тогда, когда он воспринимает себя и выступает в отношении источ-

⁷ «Принцип отложенности» усвоения сформулировал преподаватель «традиции» одной из московских еврейских школ С. Томашпольский. «Предполагается, что переданное и даже в какой-то степени усвоенное содержание будет “лежать” в головах и сердцах тех, кто окончит школу, и, возможно, при соответствующих обстоятельствах начнет работать. Этими обстоятельствами является духовное рождение, которое у кого-то случается, у кого-то нет» (Проблемы... 2000, 85)

ника откровения безвольным орудием или каналом передачи. Можно сказать, что в какие-то моменты или фазы иерофанического процесса сама душа или организм пишущего священный текст оказывается тем носителем, на котором он пишется – «в сердце его»⁸.

Но раз так, то можно вообще перевести внимание с текста на личность получателя откровения и его рассматривать как самостоятельного носителя и транслятора сакрального содержания. Через человека (писателя и сказителя) это содержание запечатлевается в тексте (или текстах), через человека же (учителя) оно запечатлевается непосредственно «в сердцах» других людей.

Как объяснял в своей классической работе о трансляции традиционной культуры В.С.Семенов, «учитель передавал ученику не просто знание священных текстов, но ритуал, т.е. чрезвычайно сложную, иерархизированную систему сакрального поведения» (Семенов 1988: 13), составными частями и комментариями к которому и были заучиваемые тексты (понятно, что запоминать их надо было дословно – ритуал не допускает отсебятины). Развивая эту мысль, Семенов и делает вывод, что предметом передачи здесь оказывается сама личность учителя, тождественная названной «системе сакрального поведения» как совокупности речевых, физических и ментальных действий вместе с их мотивацией. Происходит как бы «повторное рождение» учителя в ученике.

Получается, что для традиционного сознания личность как носитель и транслятор сакрального во всяком случае сопоставима по силе и достоинству с текстом, а в чем-то даже первенствует, поскольку что-то оказывается передаваемым только или преимущественно через личность⁹.

У Семенова в той же работе упоминается возможность реконструкции личности учителя, духовного отца по его частичному проявлению: «воспринимая проявление другой личности (личности учителя) даже в неполной, редуцированной форме (например, не все три описанных выше компонента, а только слово и образ, либо слово и физическое движение, либо только слово), ученик может восстановить недостающее слагаемое (или даже два) за счет особо интенсивного, глубокого восприятия редуцированного целого» (Семенов 1988: 15). Нам в связи с обсуждаемой темой важен

⁸ Этот оборот многократно встречается в Библии: Иер. 31, 33; Рим. 2, 15; 2 Кор. 3, 2; Евр. 8, 10.

⁹ Текст (не только словесный, но и иконический) и личность, будучи различными по свойствам «материала носителей» («материал» личности отличается не только подвижностью, динамикой, но и собственной активностью, свободой), выполняют и разные, взаимодополнительные функции в процессе традирования. Личность богаче, многомернее текста, но и в большей мере может содействовать процессу эрозии передаваемого содержания – за счет его загрязнения своей субъективностью. Фиксация в тексте обедняет, но и ограждает от эрозии. Во всякой традиции сосуществуют преимущественно личностный (устный) и преимущественно текстовый (письменный) каналы трансляции – Предание и Писание христианской Церкви, устная и письменная Тора, Коран и иснад и т.п. Но при этом можно, кажется, говорить о двух типах традиций в зависимости от носителя *первичной иерофании*, от того, что первично – личность основателя или священный текст (или же они равноправны). Совершенно ясно, например, к какому из двух типов относится христианство («Я есмь путь и истина и жизнь», Ин. 14, 6), а к какому иудаизм и ислам.

тот случай, когда восстанавливается личность учителя по изошедшему от него тексту. Если сопоставлять этот случай с ранее рассмотренной ситуацией понимания инструментального текста, то в противоположность инструментальному смыслу здесь можно говорить об извлечении *личностного смысла* текста. Естественно предположить, что и способы обращения с текстом в этом случае должны быть другие, что опираться приходится на другие его составляющие и свойства.

Едва ли, скажем, личностный смысл целиком совпадает с вербально-логическим содержанием текста. Хорошо известно, что важное, может быть, важнейшее в личности выражается (если искать этого выражения в произведенных человеком текстах) в интонационных, ритмических, образных, стилевых характеристиках этих текстов. В характеристиках, восприятие и воспроизведение которых – в себе, в своей личности и образе жизни – представимо, только если эти тексты непрерывно «живут» в ученике, составляя как бы «внутреннюю среду» его личности. Итак, мы опять-таки приходим к необходимости помнить и помнить полностью.

Рассмотрев, таким образом, резоны, лежащие в основании универсальной практики заучивания наизусть сакральных текстов, мы можем теперь поставить вопрос о том, не сохраняют ли эти резоны силу, полностью или хотя бы отчасти, и для каких-то несакральных текстов. Оказывается, что сохраняют.

Первый из таких резонов – это, как мы помним, подручность, желание иметь текст всегда при себе, поскольку он может в любой момент пригодиться. Это может относиться не только к словам молитвы или ведической мантре, но, как выше уже упоминалось, и к каким-то вполне профанным знаниям – именам, числам, формулам и т. п. Да и знание родного и изученных чужих языков можно отнести к этой категории.

Другой резон связан со сложностью и многоуровневостью смысловой структуры всякого нетривиального текста, что обуславливает и неизбежную сложность деятельности понимания¹⁰. Я рассчитываю на то, что многим, как и мне, такая ситуация – запомнить, а потом постепенно *допонимать* – знакома и применительно к текстам несакральным (но непременно неплоским, имеющим глубину), по отношению, скажем, к стихотворению или философскому афоризму.

¹⁰ В отношении любого текста можно различить по меньшей мере 1) память, заученность (механическую), 2) самое поверхностное, “локальное”, “лексико-грамматическое” понимание (как при литературном редактировании), 3) буквальное понимание, 4) фабульное понимание, 5) понимание замысла, т.е. того, что хотел сказать автор, 6) понимание множества возможных импликаций сказанного, 7) представление о возможных воздействиях текста на различные аудитории (сюда можно включить и возможные ложные понимания и интерпретации), 8) представление о возможных употреблении (в том числе и злоупотреблениях) текста. Учителю, собирающему ввести в программу изучение некоторого текста – библейского псалма, “Войны и мира” или учебника химии — нужно, вроде бы, решить, каких видов “усвоения” он хочет добиться от учеников, а также принять во внимание возможные последствия знакомства с текстом (пп. 7 и 8).

Ну и, наконец, то, что говорилось выше о воспроизводстве личности учителя: Здесь я опять могу пройти некоторый путь по следам В.С.Семенцова, который в той же работе пишет, что такая «регенерация личности» «может происходить даже в рамках нетрадиционных культур; так можно привести достаточно примеров писателей, поэтов, художников и т.д., вполне сознательно относившихся к тем или иным мастерам прошлого как к своим “духовным отцам”». В терминах обсуждаемой концепции такого рода высказывания теряют свою метафоричность и обретают вполне конкретный смысл» (Семенцов 1988: 15). В примечании к этому пассажи приведены строки из пушкинского «Памятника» о надежде поэта на особого рода бессмертие:

«...душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит –
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит»¹¹.

Рассуждение Семенцова в первую очередь относится к духовному премству поэтов, но – подобно тому, как «дваждырожденность» не является исключительным достоянием брахманов – в пространстве светского художественного творчества также нет жестких границ между поэтом и читателем, между художественным творчеством и творческим восприятием художественных произведений. Вспомнив о фольклоре, с одной стороны, и принимая, с другой, во внимание всю совокупность творческих актов и восприятий в рамках некоторой традиции, мы получаем возможность говорить о совокупном «тексте» этой традиции, складывающемся из множества словесных текстов, образов, мелодий, ритмов, интонаций, жестов и

¹¹ Поэтам свойственно сакрализировать свое занятие, воспринимать и изображать его как род священнодействия («Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...») – особенно в некоторые эпохи и некоторым поэтическим направлениям, скажем, романтикам – см., например, написанное об этом П.Б.Шелли (*Шелли* 1989) и символистам. Что стоит за этими притязаниями и в есть ли в них правда? Можно объяснять происхождение поэзии, и искусства в целом, возводя его к первичному мифоритуальному единству, видеть в них продукт разложения и профанирования этого единства, а в рецидивах сакрального самосознания припоминание этого происхождения. Но ведь совершенно же ясно, что есть и другая поэзия и другое искусство (или, может быть, так: другое в поэзии и искусстве) – движимые самовыражением художника, свободной *игрой* его творческих сил. Это разные художественные мотивации и за ними стоят разные базовые установки личности. Когда эти установки даны в чистом, предельно выраженном виде, можно, как кажется, говорить о двух существенно разных родах деятельности и, соответственно, о двух полярных типах личности художника. Правда, то, что в чистом виде противопоставит художественной игре, нельзя, вероятно, уже относить к искусству. Такую позицию и занимает, например, В.И.Мартынов применительно к музыке. Музыка, которая есть один из видов игры, противопоставляется богослужбное пение. «Если целью музыки является звуковое выражение естественно данного состояния сознания, то целью богослужбного пения является аскетическое преобразование сознания, вновь воссозданная структура которого и становится объектом звукового выражения» (*Мартынов* 1997: 12-13). Понятно, что аналогичные оппозиции можно выстраивать и применительно к изобразительному искусству, противопоставляя ему иконопись, и к словесному творчеству, и т.д. В то же время ясно, что во всех случаях светского, профанного искусства, наряду с проявлениями чистого самовыражения, «игры», мы встретим и следы сакронаправленных мотиваций.

т.д., и о совокупном субъекте традиции, ее носителе, и уже к ним можем прилагать вышесказанное о духовном воспроизводстве и о реконструкции целого по частичным проявлениям¹². Речь при этом идет о вполне реальной, живой традиции, прошедшей уже достаточно длинный исторический путь – путь профанирования и инструментализации, путь усложнения и рефлексирования, – и содержащей в своем составе как остатки первичного сакрального наследия разной степени сохранности, так и множественные новообразования с продуктами своих псевдоморфных «иерофаний»...

Самое важное, что отличает традиционный взгляд на вещи от профанного – это восприимчивость к качественному различию, чувство иерархии, интенционально разделяющееся внутри себя на несколько родов чувств или способностей – совесть, вкус, особое чувство сакрального. Мы не знаем никакого другого пути формирования в человеке этих способностей кроме *опыта предпочтения* – лучшего худшему, высшего низшему. Складывание этого опыта, его структурной и динамической организации начинается (и, кажется, даже в каких-то важных своих чертах завершается) задолго до формирования у человека способности сознательного, рационального рассуждения. Те самые «насмотренность» или «наслышанность», которые как неотъемлемая принадлежность профессионализации требуются от искусствоведа, в несоизмеримо больших объемах и с несомненно более глубокими последствиями приобретаются при благоприятных условиях в детстве – вместе с «натроганностью», «начувствованностью» и другими составляющими опыта предпочтений. В ходе этой огромной душевной работы в человеке образуется некий центр, аксиоматическое ядро, которое вовсе не закрыто для рефлексии и рационального прояснения, но лишь медленно, трудно и понемногу изменяемо под их воздействием. На метатрадиционном жаргоне этот центр можно назвать личным сакрумом человека; в поэзии и на языке мистического умозрения его называют сердцем. И в таком понимании не только тютчевские слова о «памяти сердца» перестают восприниматься метафорой, но и неожиданно новый смысл начинает звучать в английском выражении с обиходным значением «заучивание наизусть» – *learning by heart*.

¹² Я не говорю о совокупной (соборной, симфонической) «личности» традиции, поскольку подобные конструкции представляются мне противоречащими самому смыслу понятия «личность» – тому, прежде всего, что личность неотделима от свободы, качества неприложимого к коллективным субъектам. Но очень многое из того, что выше говорилось о трансляции личности, приложимо к совокупному субъекту традиции.

Литература

- Генсаретский О.И. Культурно-антропологическая перспектива // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Россия как субъект. М., 1995.
- Гумилев Л.Н. «Поиски вымышленного царства». М., 1997.
- Дистервег А. Избранные педагогические произведения. М., 1956.
- Ключков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. Очерки. М., 1983.
- Мартынов В.И. Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе. М., 1997.
- Найн Д.М. Индуизм: Эксперименты в области сакрального // Религиозные традиции мира. Т. 2. М., 1996.
- Проблемы еврейской школы в постсоветской России. М., 2000.
- Семенов В.С. Проблемы трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагаватгиты // Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988.
- Шелли П.Б. Защита поэзии // Литературные манифесты западноевроп. романтиков. М.: МГУ, 1989.
- Шмидт К. История педагогики, изложенная во всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной жизнью народов. Т. 1. М., 1880.
- Brubacher J.S. A History of the Problems of Education. N.Y., L., 1947.

С.В. Соколовский

Вещность и власть в обыденном сознании (автотнографические этюды) *

*Я не ходил к незнакомым людям, чтобы
рассказывать о своем детстве и своих снах
(из фильма «Сердце справедливости»)*

Предупреждение читателям

Предлагаемый ниже текст – лишь одна из многочисленных реплик в диалоге с профессиональным сознанием, счету к которому предъявляются не только философами и «публикой», но и «изнутри» дисциплинарных сообществ – самими носителями этого сознания. Темы же власти вообще и власти особого рода – власти вещей – оказываются интимно связанными с ключевыми мотивами критики современного сознания¹, которое продолжает определяться и контролироваться структурами сознания профессионального. Таким образом, при всей случайности поводов, заставивших меня обратиться к этим сюжетам, сами они не случайны для нашего времени, то есть, «симптоматичны», если использовать медицинский жаргон социальной диагностики. Еще менее случаен выбор жанра, о котором стоит поговорить особо. Дело в том, что в созданном, в основном, заботами профессионального сознания каталоге жанров, с приписанными каждому из них нормами и ценностями и заранее «параметризованными» аудиториями, не находится места для различных *манер письма*, противостоящих научно-техническому проекту расколдовывания мира. Переживаемое нами время в этом смысле парадоксально: мы живем на излете великого проекта эпохи Просвещения, философские основания которого уже отвергнуты как несостоятельные, однако выросший на их основе мир практик, в том числе и практик научного исследования и письма, продолжает бытовать и определять профессиональные стратегии взаимодействия с миром. Не претендуя на охват и описание этого огромного поля противостояния отживающих свой век и новых форм, я ограничиваю свою задачу рассмотрением частных аспектов производства знания в сравнительно узкой области, определяемой все чаще как этнографическая и культурная антропология и называвшейся у нас прежде просто этнографией. В советской и постсоветской (русской) этнографии, несмотря на происходившие с конца 1980-х гг. зримые сдвиги в тематике исследований (и довольно заметные – в методологии и методике), жанровый репер-

* Статья написана в рамках исследовательского проекта «Fin-de-Siècle History of Russian Anthropology and Nationality Policy», поддержанного Research Support Scheme (grant RSS № 1005/2000).

¹ Достаточно упомянуть критику техники и «мира постанга» у М.Хайдеггера и работу Ж.Бодрийяра «Система вещей» (Gallimard, 1991; пер.: М.: Рудомино, 1995).

туар остается практически прежним: канон статьи, написанной для профессиональной аудитории, в своих основных параметрах не поколеблен; все прочие жанры – маргинальны². Это выглядит даже как любопытная аномалия на фоне углубляющейся интеграции российской этнографической науки в мировую и царящего там разгула экспериментальных жанров.

Обращение к экспериментальным жанрам в этнографии было спровоцировано критикой используемых приемов и методов исследования и, в частности, критикой стратегии *объективации* – процедуры, не только превращающей всех представителей изучаемых этнографами сообществ в объекты, но и тщательно маскирующей следы присутствия автора в финальном описании. Читатель, в итоге, получал «объективный» портрет описываемого этнографом общества, который создавал иллюзию, что изучаемые (изучаемое) говорят от самих себя и сами. Эта стилизация социального под естественнонаучные «природные» процессы и явления, *натурализация* увиденного этнографом в поле и были заподозрены в качестве стилистических стратегий убеждения.³ Между тем, для российских этнографов связь жанра и метода остается малоочевидной и недостаточно, в силу этого, вопрошаемой, хотя даже поверхностное сопоставление стратегий исследования и письма заставляет признать, что существует не только детерминация по линии «выбор метода – выбор жанра», но действует и обратная цепочка: освоенные жанры диктуют выбор стиля исследования и направленность вопрошания. Уже один только этот момент позволяет увидеть, что ограниченность жанрового репертуара приводит к ограниченности представлений об изучаемом, а *аспектистость*, порождаемая конкретными жанрами, ведет к качественно различающимся *теоретическим редукциям*.

Неочевидность этих связей в нашей антропологической практике и в российском обществоведении в целом, как мне кажется, была в известной степени предопределена современными особенностями институционализации дисциплинарного знания в России: междисциплинарные барьеры, несмотря на ослабивший их эпистемологический кризис середины 1980-х – начала 1990-х гг., остаются существенными препятствиями для междисциплинарного обмена идеями. Например, новые подходы в литературоведении и литературной критике, изменившие до неузнаваемости облик антропологии в США, практически не повлияли на состояние отечественных общественных дисциплин. В российской этнографии находки «Новой критики» остаются, по существу, неизве-

² Обзор существующих в отечественной этнографии жанров выходит за рамки этого введения; его цели – обозначение выбора жанра как проблемы; в силу этого обстоятельства я совсем не останавливаюсь на рассмотрении и оценке специфики отечественных «крупных форм» – монографий и тематических сборников, хотя, в скобках замечу, что этнографическая монография в классическом понимании как некоторое стремящееся к полноте и завершенности «комплексное» описание жизни конкретного человеческого сообщества – практически неизвестна российской этнографии последней четверти XX века.

³ И, добавлю, политических стратегий. Здесь, как и везде со времен Платона и Аристотеля, политика и поэтика оказались связанными, что лишний раз подчеркивает значимость выбора жанра при

стными, а питавшие эту критику идеи континентальной философии (главным образом, французской) проникают окольными путями – через ту же американскую антропологию, а не непосредственно, невзирая на доступность перевода основных текстов. Я обращаю внимание читателей на эти обстоятельства в связи с тем, что именно этот круг идей, который получил наименование деконструктивизма, или постмодернизма, способствовал установлению большей открытости дисциплин к “внешним” влияниям и обнаружил всю глубину взаимосвязей жанра и метода, заставив такого мэтра американской антропологии как Клиффорд Гирц определить сам антропологический подход к действительности в терминах Г. Райла как “густое описание”, или, в более поздней редакции, как *манеру письма*.

Упомянутая прежде стратегия объективации не являлась отличительной чертой советской и постсоветской этнографии, однако именно в них она продолжает удерживать свои позиции, при этом практикующие ее авторы игнорируют не только эпистемологически ориентированную критику, но и весьма серьезные упреки этического свойства. Эта стратегия, помимо стирания из текста следов присутствия автора, основана на разрыве между “полем” и “столом”, местом, где этнограф наблюдает и изучает, и привилегированным (в смысле защищенности) местом описания другой культуры, а также на разрыве между исследователем и исследуемыми, субъектом изучения и его объектами. Болезненные этические проблемы, сопряженные с субъект–объектной парадигмой, неоднократно обсуждались в литературе и становились предметом не только острых дискуссий, но и, своего рода, концептуальных скандалов, повлекших за собой радикальный пересмотр основ антропологической практики.⁴ Одним из исходов из концептуального тупика, в котором оказалась постколониальная антропология и антропологическое сообщество, стало «возвращение антропологии домой», то есть обращение антропологов к изучению собственных народов, обществ и культур. Наиболее радикальным и методологически мощным из исходов, снимающим многие из противоречий и разрешающим ряд стоящих перед антропологами проблем, стало, однако, обращение к жанру *автоэтнографии*, трактуемому как этнография сообщества антропологов, во-первых, и как автобиографическая этнография; во-вторых⁵. Упреждая возможную критику столь радикального поворота в выборе жанра, приведу доводы в его пользу, сопоставляя открывающиеся методологические возможности со стандартными методами и подходами.

Автоэтнография⁶ – жанр парадоксальный и частный. Парадокс заложен

⁴ К наиболее известным работам с обсуждением этой проблематики относится пионерская работа Эдварда Саида (*E. W. Said. Orientalism. – N. Y.: Pantheon Books, 1978*). См. также: *H. K. Bhabha. Nation and Narration. – L. etc. : Routledge, 1990; Ibid. The Location of Culture. – L. etc. : Routledge, 1994.*

⁵ Об этих жанровых возможностях в рамках обсуждения релятивистской и позитивистской исследовательских программ в этнографических исследованиях см. в: *Соколовский С. В. Этнографические исследования: идеал и действительность // Этнографическое обозрение. – 1993, №2-3.*

⁶ В дальнейшем для термина *автоэтнография* я буду использовать аббревиатуру АЭ, а для терминосочетания *автоэтнографический жанр* – АЭЖ.

уже в исходном посыле этого жанра и в его терминологическом облике. Центральной семей для корня *этно-* является компонент значения со смыслом «другой, иной», в то время как *ауто, авто* отсылает к себе и тождественности. *Авто* и *этно* создают поле напряжения, которое манит обещанием открытий, но одновременно и угрожают персоне, этот жанр практикующей. Забегая вперед осмелюсь утверждать, что АЭ как метод может трактоваться как техника самостранения. Когда же я утверждаю, что этот жанр еще и частный, я имею прежде всего в виду, что он не должен рассматриваться как универсальный ответ на проблемы, с которыми столкнулась современная рефлексивная антропология, и даже как ответ многообещающий. Это лишь одна из позиций, в горизонте которой часть этических и эпистемологических затруднений оказываются снятыми. Как относительно новая позиция, еще только начинающая функционировать во множестве давно «установленных» и авторитетных ролей и жанров, она порождает новую сеть отношений между автором и предметом, исследователем и исследуемым и по-новому освещает сложившуюся в этнографии систему ролей, уже ставшую привычной и потому малозаметной и непроблематизируемой.

Начнем наше сопоставление возможностей АЭЖ и «стандартных» методов и жанров с проблем, с которыми сталкивается этнограф в ходе полевой работы. Именно методы полевой работы подверглись наиболее серьезной критике, хотя, следует отметить, что ее направленность часто была диаметрально противоположной. Так, например, сторонники полноты и достоверности этнографического описания настаивали на длительном, как правило, не менее года, пребывании этнографа в изучаемом сообществе. Лишь за счет наблюдения такой длительности появляется возможность быть свидетелем всех видов сезонных занятий населения, установить с ним дружеские контакты и достичь более глубокой включённости в местную жизнь и понимания её законов. В огромной литературе с критикой и апологетикой методов полевой этнографии едва ли не чаще всех остальных в связи с этическими аспектами полевой работы обсуждается тема вторжения этнографа в жизнь его «подопечных». Это вторжение, даже при самом благожелательном отношении этнографа к исследуемым всегда характеризуется градиентом власти/безвластия, который выражается даже не в разнице социальных их статусов или уровней образования, но в степени контроля за производством этнографического знания: большинство решений, что изучать, как, когда, где, как долго, с кем и т.п. принимается не представителями изучаемого сообщества, и даже не этнографом совместно с этими представителями, но только самим этнографом. АЭ снимает эти проблемы, поскольку практикующий её этнограф лишь весьма косвенно и опосредованно вторгается в жизнь других, нарушая прежде всего только собственную безопасность.

Хочу заметить, что обсуждать вторжение в среде российских этнографов не принято. То есть, теоретически – пожалуйста, но когда задаёшь вопросы в частных разговорах с коллегами, то обнаруживаешь, что этическая сторона в обсуждении избегается, ее значение как бы принижается. Психолог бы не пре-

минул заметить, наблюдая за собеседниками в такие моменты, что включается вытеснение: сюжет для многих очевидно болезнен. Причем в ходе таких обсуждений тема как-то замыкается на вторжении в дом, а все прочие проблемы вторжения в иную культуру и жизнь отходят на второй план. Из-за болезненности «инициации» само событие вторжения часто тривиализовалось: мне, например, сообщалось, что останавливаются у друзей, хороших знакомых, которые и сами, бывая в городе, где живет этнограф, останавливаются у него и т.п. Разница между «остановиться на квартире», «немного пожить» и «пожить, чтобы поисследовать», «пожить, чтобы написать об этом» вообще не осознается. В качестве провокации предлагаю этнографам помыслить ситуацию, в которой ваш знакомый сообщает вам, что хотел бы месяц - другой у вас пожить, для того чтобы понаблюдать как вы проводите свой досуг, расспросить о семейных делах, зафиксировать способы ведения хозяйства и формирования бюджета, понаблюдать за обычаями и ритуалами, чтобы написать потом об этом статью (книгу) об особенностях культуры, религии, быта у вас и вам подобных. Стоит ли говорить, что вопрошание, направленное на себя самого, на свое собственное настоящее и прошлое, значительно менее инвазивно.

Стратегия минимизации вторжения в жизнь изучаемого сообщества входит в противоречие с целью достижения полного и достоверного изображения его культуры. В АЭЖ полевая ситуация в определенном смысле непокидаема. Здесь ты лишаешься возможности ответить оппоненту, что к сожалению не задал такого рода вопросов своим респондентам. Находясь всегда в поле саморефлексии, ты в любой момент можешь опросить «публику» и получить интересующие тебя сведения. Присутствие поля, его «сподручность» в этом жанре – различие не только количественное, но и качественное: ни один этнограф не проводит в поле всю жизнь, и только в АЭЖ полевой опыт становится соизмеримым с длиной жизни. Читатель здесь вправе заподозрить лукавство. Большая часть этнографов ими все же становится, а не рождается, а становление этнографа связано, помимо прочего, с постановкой особого видения, специфического *умозрения*, при котором событийный ряд обыденного течения жизни, во-первых, остраивается (экзотизируется в процессе сопоставления с собственной культурой), и, во-вторых, переозначивается в языке антропологических концепций. Если переозначивание (перевод на язык понятий социальной и культурной антропологии, социологии и т.д.) при рассмотрении материала собственной биографии не составляет особых проблем (нашлись бы действительно подходящие и внутренне достоверные концепции), то остранение требует особых усилий, сравнимых, разве что, с попытками человека услышать речь на его родном языке как иностранную, еще точнее, как звуковой поток незнакомого языка. Если при столкновении с незнакомой культурой этнограф вынужден бороться с материалом собственных психологических проекций⁷, то при работе с фак-

⁷ В соответствии с этим *странное* и *интересное* в чужой культуре не даны сами по себе в своем притягательном качестве, но обращают на себя наше внимание благодаря тому, что оказываются связанными с нашими внутренними проблемами, психологическими барьерами, вытеснениями и т.п.).

тами собственной биографии эта зависимость обретает еще более сложный и многомерный характер: «погруженность» в материал и сковывание аналитических потенций не только предрассудками своей культуры, но и собственными предрассудками требует знакомства не только с логическим анализом, но и с основами аналитической психологии. Однако в этой зависимости есть и положительные стороны: только в АЭЖ обретается возможность получения не только бесконечно «густых» описаний (в стиле Г. Райла – К. Гирца), но густых описаний от лица «аборигена». Есть и еще одно спасительное соображение: хотя обыденное сознание не отгорожено от сознания профессионального, что создает определенные препятствия (впрочем, не только для АЭЖ), в жанре АЭ персональный опыт дается не сам по себе, как в мемуарах, или автобиографии, но в «зазоре» между «персоной», этот жанр практикующей, и ролью этнографа. Некоторое постулируемое расстояние между этими ролями и то обстоятельство, что они принадлежат одному человеку, сообщает АЭЖ несомненный характер иронии, ирония же, по свидетельству Дж. Клиффорда, сопутствовала современной этнографии с самого ее зарождения, что и позволило этой дисциплине стать критическим зеркалом для западной культуры.⁸

Приношу читателям извинения за затянувшееся «предупреждение». Должен еще раз просить не прочитывать все приведенное как призыв отвернуться от «обычной» этнографии и обратиться лишь к экспериментальной. Я вижу для АЭЖ совсем другое применение. Зафиксированный как реальная *познавательная позиция* в поле возможных, как особый *угол зрения* на проблемы, стоящие перед этнографией, наконец, как особый *план рассмотрения* многочисленных сюжетов и теоретических преткновений этот жанр, как я надеюсь, позволит придать объемность антропологическому умозрению, перейти, если так можно выразиться, к полихромному зрению, проблематизировать ряд привычных процедур получения и обработки антропологического знания, что не может не стать стимулом для их изменения, развития и совершенствования.

Транскрибирование власти (инициация в систему властных отношений) *

Это сообщение строится, главным образом, на реконструкциях моих собственных «столкновений с властями» в начале и середине 1960-х гг. (в период, когда мне было 5–10 лет) в одном из шахтерских городов на юге Западной Сибири. Выражение «столкновения с властями» я, по понятным причинам, ставлю в кавычки. Причины эти, хотя и понятны – родители, воспитатели и учителя у нас обычно не рассматриваются в качестве «властей», а конфликты с ними – не поднимаются до ранга «сопротивления властям» – тем не менее, они заслуживают комментирования.

⁸ J. Clifford. The Predicament of Culture. - Cambridge (Mass.), 1988. - p.130. См. также: G.L. Marcus, M.M.J. Fischer. Anthropology as Cultural Critique. Chicago and London, 1986. - pp.13-15.

* Доклад на секции «Закон, знание и власть в постколониальной и постсоциалистической антропологии» (конференция «Власть и иерархия», Москва, 17–20 июня 2000 г.)

Отрицание серьезности детских столкновений с силой авторитета взрослых, точнее, отрицание возможности серьезных социологических и политических последствий этих столкновений, сохраняется, как мне кажется, лишь по инерции, в общественном сознании россиян и, вообще, представляет собой одну из характеристик общественного сознания социалистических а, в ряде случаев также и постсоциалистических обществ. Отчасти это связано с бытовавшей в этих обществах коллективистской парадигмой социологического мышления, автоматически превращавшей всякие попытки психологических истолкований массовых феноменов в маргинальные. Как выражались еще полтора десятка лет назад, это являлось бы «уступкой буржуазному индивидуализму». Западные коллеги, наверное, будут удивлены, узнав, что работы З.Фрейда находились в библиотечных спецхранах вплоть до середины 1980-х гг. По тем же причинам отсутствовали переводы таких современных гуру психоанализа, как, например, Ж.Лакан или М.Кляйн. Сейчас психоаналитическая литература заполнила книжные магазины, но психологические основы социальной динамики по-прежнему остаются за рамками официальной социологии, хотя и пробираются к признанию в российской конфликтологии. Очевидно, в силу именно такого рода особенностей интеллектуальной истории постсоциалистических обществ, социальные теории власти в них продолжают опираться на коллективистскую парадигму: на место К.Маркса приходит М.Фуко, а не, скажем, Ж.Лакан, или Э.Миллер.

Поскольку работы последней мало известны в России, я позволю себе, прежде чем обратиться к жанру автоэтнографии, остановиться на отдельных утверждениях этого автора, тем более, что ее исследования детства связаны с анализом политического устройства общества и концепцией власти. В отличие от М.Фуко, Элис Миллер делает фокусом своего исследования власти отдельного лидера, сосредоточивая свой анализ на психодинамическом символизме власти в идеологических и политических актах. Фундаментом понимания распределения и практики власти служит не совокупность исторических и социальных эпистем, хотя Миллер не умаляет их роли, а отношения между родителями и детьми в данном обществе. Власть, с ее точки зрения, не может рассматриваться в отрыве от формирования первого опыта столкновений с ней в раннем детстве. Вне раннего опыта властной социализации нельзя понять отношения между лидером и массой, а также феномен массового конформизма при осуществлении политики геноцида.

В методах анализа Э.Миллер есть, помимо психоаналитических интерпретаций, и исторический подход. На мой взгляд, современные отечественные теории коллективного действия до сих пор опираются на редукционистские модели человека, причем, в социологии, экономике и праве по преимуществу используется модель рационального выбора и рационального поведения. Действующий в них человек оказывается человеком рациональным, а его поведение ответственным и вменяемым. Аффективное поведение, эмоциональная и физиологическая стороны выступают как неизбежные «довески», как нечто прибавочное и избыточное, привлекаемое в качестве *ad hoc* объяснений и ра-

ционализаций. С другой стороны, в социальной психологии, конфликтологии, и, отчасти, политологии в объяснениях массового поведения *Homo agens* выступает в качестве *Homo irrationalis* (*H. insanus*) – человека безумного, находящегося во власти аффекта, управляемого импульсами подсознания. Российская антропология (этнология и этнография) идет, как мне представляется, не по пути синтеза этих двух моделей, способного восстановить целостность человека и социального действия, но по пути уточнения модели рационального действия, реконструируя бесчисленные «локальные *ratio*» и подчеркивая неуниверсальность базовой модели рационального действия. Этнографы как бы говорят, что есть, мол, иные виды рациональности, и что, по крайней мере часть поведения людей иных культур, воспринимаемая как проявления иррационального, является рациональной и основано на взвешивании и выборе альтернатив, которые, оставаясь культуроспецифичными, не воспринимаются в качестве рационального выбора за рамками этой культуры.

Элис Миллер, если я правильно понимаю суть ее работы, как раз и делает попытку синтеза (если не на уровне теории, то на уровне методов и подходов), объединяющего психоаналитические концепции с макросоциологией и социальной историей. В своем поиске ответа на вопрос, как политика геноцида, и, в частности, холокост стали возможными в Европе, она использовала педагогические тексты XIX века для реконструкции традиций семейного воспитания в Германии, дополняя исторический анализ психоаналитическими интерпретациями⁹. Однако, с моей точки зрения, требуется синтез социально-психологических, психоаналитических и социологических концепций власти на более глубоком уровне, чем он представлен сегодня, в том числе и в работах Э. Миллер, интерпретация власти у которой имеет осязаемый «психоаналитический крен». Мне представляется, что она права, демонстрируя недостаточность имеющихся у социологов объяснений поддержки массами политики геноцида, однако ее попытки свести суть властных отношений к психотравматическому опыту раннего детства, порождающему за счет механизмов вытеснения глубоко интериоризованное чувство ненависти, проецируемое затем на поставляемых идеологами «козлов отпущения», остаются, в свою очередь, редуционистскими. Эксперименты С. Милграма, несмотря на всю их спорность с позиций современной социальной психологии, продемонстрировали, что конформное поведение в морально двусмысленных ситуациях обеспечивается не столько глубоко интериоризованными аффектами, сколько ситуативными факторами и социальными влияниями. Но и описание ситуаций и влияний в рамках детерминистских моделей человеческого поведения остаются бедными содержанием объяснительными схемами, соседствующими в рамках одного холистского описания с другими возможными объяснениями и иными редуками. Слабость этих подходов я вижу не столько в изъянах *научного метода*, сколько в

⁹ Miller A. For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. – New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1984; *Ibid.* Banished Knowledge: Facing Childhood Injuries. – New York: Anchor Books, 1990.

фундаментальных ограничениях человеческого познания *Другого*. В этом смысле шагом к нередукционистским описаниям власти мог бы стать не только предложенное К. Гирцем густое описание, но и жанр автоэтнографии, где *Другой* — это ты сам.

* * *

Из всего периода собственного детства я выбираю несколько травматических для меня (и потому, видимо, запомнившихся) случаев, которые, как выяснилось (что было для меня самого неожиданностью), продолжают оказывать некоторое влияние на мое восприятие людей и сегодня.

Попробуйте вспомнить самое первое свое столкновение с властью. Службой властью. Я задал этот вопрос своим студентам и обнаружил тот же самый обескураживающий результат, что и при обращении к собственной памяти. Самое первое ускользает. Память не хранит ни первого знакомства с насилием, ни первый опыт сопротивления. Психологи услужливо подсказывают нам — вытеснение, подавление. Мы можем не верить Зигмунду Фрейду и его последователям, но тогда нам следует отбросить и все рассуждения социологов и этнологов о габитусе: если наш взрослый опыт не несет следов нашей же собственной социализации и вхождения в поле власти, то сами понятия социализации и габитуса как ее продукта становятся избыточными. «Человек обычно не осознает то, что является продолжением его детства»¹⁰. Какими свидетельствами мы располагаем, чтобы согласиться с этим утверждением, либо опровергнуть его? Какими вообще свидетельствами мы можем располагать, если речь идет о том, что по определению недоступно нашему сознанию? Смутные воспоминания, сны, поведенческие автоматизмы, если судить о них вне авторитетных теоретических объяснений — не являются свидетельствами и свидетелями. Чтобы их таковыми сделать, нужна определенная *культура восприятия и интерпретации*, например, европейская (и, вслед за ней современная северо-американская) культура, пронизанная психоаналитическим жаргоном. Советская культура никогда не входила в этот мир европейской чувствительности с его градуированием феноменов бессознательного. Следовательно, наши нынешние потуги схватывания и понимания особенностей этой культуры и стоящих за ней стилей жизни и отношений властвования с помощью готовых и заимствованных категоризаций воспроизводят лишь еще одну сторону концептуального захвата, еще одну ипостась аккультурации, еще одну демонстрацию власти интерпретации, еще одно насилие Запада по отношению к стремительно уходящим в прошлое мирам Иного, словом, очередной эпизод в череде побед концептуального империализма. Советская эпоха — уходящая натура, мы уже сейчас начинаем забывать собственный опыт ее проживания, то и дело путая его с объяснениями этого опыта, приходящими извне. Отторжение собственных, так сказать, доморощенных объяснений и неверие в них, есть, между про-

¹⁰ Miller A. For Your Own Good: Hidden Cruelty in Child-Rearing and the Roots of Violence. — New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1984, p.75

чим, также одно из проявлений власти интерпретации и сложившейся иерархии референтных сообществ в мировой науке.

Однако, вернемся к опыту первых столкновений с властью. Из пятидесяти студентов, которым я предложил описать этот опыт, ни один не смог вспомнить ничего из ясельного периода – самого раннего столкновения с властью чужих, незнакомых людей. Замечу, что студентам было по 17-18 лет, и что эпизоды из «послеясельного», детсадовского детства помнили все, кто ходил в детский сад. Не стану спешить с объяснениями. Мой собственный ясельный опыт был, насколько я помню, весьма травматическим, но я ходил в ясли в суровые 1950-е, а мои студенты – в относительно благополучные 1980-е. Дело, стало быть, не во времени и, быть может, даже не в травмах и подавлении травматического опыта, хотя теорию З. Фрейда в именно в этой части трудно подвергнуть принципу фальсификации.

Как уцелевший свидетель истории трансформаций советской системы воспитания и образования, который попал в нее нескольких месяцев от роду и «выпал» из нее лишь в середине 1990-х гг. после окончания докторантуры, могу напомнить, что в начале 1950-х гг. послеродовой декретный отпуск длился всего два месяца, а дальше в семьях, где не было старшего поколения, либо где бабушки и дедушки сами еще работали, дети попадали в объятия этой самой системы. От того периода жизни у меня сохранилась всего одна фотография, где я в костюме зайчика (очевидно, коллектив нашей ясельной группы праздновал встречу Нового года), сижу с поникшими ушами среди «сокамерников», лица и мимика которых находится в шокирующем несоответствии с пропагандой советской версии «счастливого детства», и застенчиво смотрю на фотографа (я жутко стеснялся фотографироваться, поскольку полагал, что сам акт фотографирования превращает тебя в героя, человека незаурядного, выделенного из толпы, при этом наличие толпы рядом и в кадре нимало не меняло этой моей уверенности). Не думаю, что угрюмые нянечки церемонились с этой оравой ползающих и во всех смыслах нетвердо стоящих на ногах чад, хотя никаких подробностей «истязательств» память не сохранила. Помню только, что угрюмость лиц персонала повергала меня в реж, стоило мне переступить порог этого заведения. Уже много лет спустя, читая Диккенса, я отчетливо вспомнил душливую атмосферу моего первого «учебного заведения». Сопротивляться этой атмосфере активно в том возрасте я не мог, но мой организм реагировал на принуждение с безукоризненной непреложностью, поэтому часть «срока» я «отмотал» в больницах. К счастью или несчастью для меня, связь между принуждением и болезнью не успела заматереть до рефлекса, ясельный возраст кончился, а в детском саду я избрал простейшие техники избегания власти и больше уже никогда в больницу не попадал.

Я не знаю, какое отношение имеет ландшафт к миру властвования с его распоряжениями, правилами, подчинением, сопротивлением, уклонением, борьбой. Может быть и не имеет никакого. Но почему-то мне кажется необходимым дать вам представление о том, в каких декорациях разыгрывалась эта серьезная игра, которую впоследствии я опознал как власть. Универсализм теоретичес-

ких построений вытесняет подробности места и времени оперирования власти, оставляя скелет, схему отношений и диспозиций, бледную копию пульсирующего страстями оригинала. Встающий перед моим мысленным взором ландшафт определенно играет важную роль в моем нынешнем сопротивлении ставшему дискурсу теоретической редукции. Вообще, должен заметить, что практически все известные мне концептуализации и реализованные на их основе представления о власти я воспринимаю как редукционистские, причем они не просто сводят мой опыт к одной из переживаемых сторон, но и искажают его. Я не стану утверждать, что искажения *существенны*, поскольку затрудняюсь разделить свой опыт на существенное и второстепенное, имманентное и контингентное. Просто известные мне концептуализации власти оказываются во многом «не про это». Для приближения к тому, что я испытывал в моих «инициациях» в отношении власти и подчинения, требуется не характеристика наличных дискурсов или параметров символического капитала элит, но интимные подробности тел (например, выражения лиц и позы детей на упомянутой выше фотографии) и вмещающих их ландшафтов, своего рода культурная «геоморфология» и стратификационная проксемика – те поля значений, которые определяли и направляли поток моего опыта, если и не столь жестко и непосредственно, как прямое принуждение, то столь же непреложно. То, что представлено ниже, следовательно, остается попыткой остаться на уровне топологического описания власти, в котором ландшафт и вписанные в него тела оказываются важнее телесных практик, раскрываемых феноменологическим анализом.

Но вот проблема. С какой бы лазейки, калитки, ворот, провала в стене, зияния я не попытался бы ввести вас в тот, увы, уже малодоступный и для меня самого мир, все это, уже только в силу линейности повествования и нелинейности нашего восприятия мира, неизбежно становится редукцией¹¹. Я вынужден «сплющивать» и «вытягивать» мой опыт в нить, подобную нити Ариадны, раскручивающей перипетию бегства от смерти в лабиринте. Если бы я был чревовещателем, я смог бы, по меньшей мере, воспроизвести пару измерений этого текучего многомерного мира опыта, смог бы столкнуть их, высечь искру, или вызвать эхо. Смог бы, наверное, рифмовать запах и прикосновение, звук и тянущую пустоту внутри, жест и эмоцию. Принуждаемой линейностью нарратива (и письмом) к одномерности, я оказываюсь способным лишь на произвольный выбор какого-то одного измерения из всей гаммы (палитры?, букета?), временно замещающей тотальность опыта.

Воспользуемся метафорой перемещения во времени. Большинство фантастов и мистиков соглашались со мной, что путешествуя во времени, мы летим. Это значительно сокращает круг мыслимых способов проникновения в миры

¹¹ Может быть, читателю будет интересно узнать, что именно с этого момента, то есть с момента, когда я от более или менее универсальных схем и рассуждений перешел к изложению персонального опыта, как известно, с трудом поддающегося теоретическим редукциям, опытный и хорошо знающий английский язык переводчик стал испытывать серьезные затруднения, а затем и вовсе прекратил перевод.

Иного. Не столько перемещаясь сам, сколько перемещая вас в мир моего детства, я заставляю вас впервые и во-первых *увидеть* этот мир, и увидеть его, для начала, с высоты птичьего полета. Что же откроется вашему взгляду? Если вы летите с севера, а именно так следует подлетать к этому миру, обрамленному Салаирским кряжем на западе, отроги которого редко достигали 500-метровой отметки, долиной Томи – на востоке, и где-то вдали, на пределе видения с высоты вашего полета, замыкающими горизонт хребтами Кузнецкого Алатау, пики которого гордо именуются среднегорьем. Именно с севера принимали сюда все посланцы иных миров, прилетая на самолетах, приезжая на поездах. Туда уходило большинство дорог, да и главная река со всеми ее многочисленными притоками несла свои воды на север. Мир моего детства, стало быть, был ориентирован как компасная стрелка, с севера – на юг. Подчиняясь этой нерукотворной топографии, которую не смогли коренным образом изменить процарапанные на земной поверхности провалы угольных разрезов и котлованов и насыпанные людьми кочки шахтных терриконов, городок, вмещавший тогда около трехсот тысяч обитателей, то есть население большого спального района Москвы, рассыпался чередой поселков, вытянувшихся вдоль основных ландшафтных осей – гряд холмов, речных долин, маршрутов древних и новых кочевий. Даже находящийся в двухстах пятидесяти километрах к северу широтный Транссиб, в своей тщетной попытке опоясать страну железным ремнем, лопался и отпочковывался длинным аппендиксом, уходящим на юг и иссякавшим в тридцати верстах южнее этого городка. Главная его улица, вытянувшаяся параллельно железнодорожному аппендиксу и ориентированная, стало быть, также с севера на юг, носила тогда, в конце 1950-х – начале 1960-х гг., отнюдь не имя вождя, памятник которому с его вокзальной площади пророчески указывал на запад, но именовалась просто, и, с точки зрения архитектурного диагноза, поставленного ее обитателями – точно: Фасадной. В начале 1970-х она почему-то была переименована в проспект Шахтеров, шаг, продиктованный откуда-то из высших эшелонов власти, небожителями, обладающими правом именовать вещи. Это был конец одной эпохи, связываемой с чудачествами Хрущева, и начало другой – марзматически вытеснявшей собственное прошлое эпохи Брежнева. Точный смысл переименования я не берусь реконструировать; этот жест власти так и остался неоцененным и неосвоенным краеведами; он символизировал, наверное, смену стилей и практик управления: власть брезгливо отворачивалась от экстастики хозяйственных экспериментов с кукурузой и обращала свой взор в горнии выси идеологии. Правильность имен приобретала больший вес, чем разумность действий.

Фасадная, между тем, было названием чрезвычайно удачным не только в смысле архитектурного чутья (все дома с тем, что без натяжки можно было бы именовать фасадами, действительно сосредоточивались на ней), но и с точки зрения ландшафтной, или, если угодно, физиогномической – это было истинное лицо города, здесь находились все его достопримечательности – главные магазины, банк, музей, стадион, и, наконец – краса и гордость, венец городской архитектуры – театр, чей творец, по слухам, был по завершению строительства

репрессирован за чрезмерные траты и размах, с которым он оформил и театр и театральную площадь, поместив ее в самом центре этой самой длинной улицы города. Удачно расположенный на западном склоне холма, возносящийся над небольшой площадью и улицей белой колоннадой, увенчанной классической фронтоном и обрамленный двумя одинаковыми зданиями со шпилями, он смотрел на облицованную гранитом трибуну, с которой отцы города во время праздничных демонстраций выкрикивали свои здравицы и призывы. Трибуна была фланкирована двумя рядами пятиметровых копий ограда, с блестящими на солнце наконечниками, за которой был крутой обрыв, переполненной шумящей на ветру тополиной листвой, а где-то на дне обрыва залегала железная дорога, и еще дальше шумела в своих берегах из черной угольной пыли мутная речка Абушка, в которой пацаны ловили черных пескарей-шахтериков. На картах эта речушка гордо именовалась Абой, то ли в честь обитавшего здесь некогда народа – абинцев, то ли в честь медведей, которых шорцы уважительно называли «аба», и один из родов которых по сию пору носит это имя. Вторжение имперских амбиций в местную топографию и топонимику, видимо, все же имеет свои границы, и специалисты не раз, не без некоторого удивления, отмечали феномен «исторической устойчивости гидронимов». Власть именования в России нередко пасует перед ландшафтными и телесными стихиями. Именно поэтому мне интересней отслеживать ее топологические конфигурации, ее, так сказать, простираение и границы, ее интимное родство с *res extensa*, возникающее благодаря российской традиции «воплощать» и «овеществлять» всякое понятие до ощутительной плотности, нежели углубляться в феноменологию внутренних переживаний, которая описана и проанализирована куда как подробней российскими писателями и западными обществоведами...

Однако вернемся на улицу Фасадную и попытаемся понять, куда же смотрит это «лицо города». Если вы оторвете свой взгляд от мутных вод «медвежьей речки», на черных и замусоренных берегах которой я вас покинул, отправляясь в очередное отступление, и поднимите его горе, вы узрите коричнево рыжий склон горы, доминирующей над центром города и как бы замыкающей горизонт на востоке. Повернитесь теперь спиной к колоннаде театра, вон там, на самом вершине горы, среди осыпей горельника, так называли шахтеры спекшийся щебень, вдруг обнаруживается профиль огромной лысой головы, выложенный большими, видимо, побеленными известкой камнями. Если у кого-то и возникало сомнение относительно портретного сходства, то оно разом рассеивалось лаконичной, точнее, лапидарной подписью ниже профиля, выполненной в той же технике инкрустации белеными камнями. Подпись гласила – «ЛЕНИН». Тут обнаруживалось, что Фасадная, будучи лицом города и практически не имея четной стороны, всеми своими фасадами, повседневно и истово всматривалась поверх верхушек тополей в другое лицо, вспыхивающее золотом и пурпуром на закатном солнце – в лицо вождя мирового пролетариата.

Если бы вдруг кому-нибудь пришло в голову проследить направление взгляда вождя и провести мыслимый пунктир от предполагаемого месторасположения глаз Ильича до той точки на местности, в которую этот невидимый взгляд

упирался, он увидел бы спину четырех-пятилетнего мальчишки, стоящего у подножия небольшого холмика на заднем дворе какого-то двухэтажного здания и с упоением что-то рассматривающего. Не поручусь, что взгляд вождя сверлил исключительно мою спину. Гора, как я уже говорил, была высокой и с нее открывался прекрасный обзор. Но я и не подозревал, что ускользя из-под контроля детсадовских воспитателей и нянь, ибо это был задний двор моего детсада, куда я попал, пройдя огонь и воду крещения ясельным воспитанием, я оказываюсь под бдительным оком вождя. Ускользание это, вероятно, может пониматься и как бегство или сопротивление, как одна из осваиваемых ранее других техник и тактик противодействия тотальности надзора – этой, быть может самой древней антропотехники власти, но для меня тогда это не было сознательной практикой. Просто на заднем дворе, у казавшегося мне тогда большим холмика детсадовского погребца, поросшего лебедой и крапивой, лопухами и клевером, известным мне тогда как «кашка», подорожником, польнью и одуванчиками, мне было интересней, чем на вытопанных игровых площадках. По стеблям трав ползали божьи коровки, легко соглашавшиеся на мою просьбу «улететь на небо» и разнообразные жуки, чьи надкрылья вспыхивали на солнце всеми цветами радуги.

Вождь из своего надмирного далека рассматривал мою спину, а я тем временем был занят рассматриванием одуванчика. Одуванчик вообще играл в моем мире особую роль, которую можно сравнить разве лишь с отношением к племенному тотему. Дело было не только в том, что из его терпко-горьких полых стеблей (как и из недозревших стручков акации) мы делали гуделки, ошеломляя все живое скоморошечьей какофонией, но и в таинстве превращения солнечного цветка в пушистую шапочку «парашютиков». Его чары стали еще сильнее, когда к одному из утренников меня заставили выучить стихотворение про одуванчик, из которого память удержала только одну строфу:

Он стоит на самой опушке

он стоит на самой жаре,

и над ним кукуют кукушки,

соловьи поют на заре.

Читать нас учили «с выражением», что в данном конкретном случае означало наличие особой интонации и дополнительного ударения на слове «самой», сопровождаемого еще и выразительной жестикуляцией. Этот брошенный одуванчиком вызов силам природы, его отважное и отчаянное самостояние «на самой жаре» производили на меня неизгладимое впечатление, окончательно упразднявшее его различия с тотемом. Итак, я разглядывал одуванчик, точнее тонкую геометрию его шапочки, и сам был разглядываем, хотя и не чувствовал этого, из подернутой пылью дали окаменевшим в своем неусыпном дозоре Ильичом. Разглядеть подробности ленинского прищура можно было бы, вздумай я подняться на холм детсадовского погребца чуть повыше и приблизиться к самой его двери, окованной железом и всегда закрытой. Однако я никогда не приближался к этой двери близко и тому были свои причины. Видимо от того,

что я никогда не заставал дверь открытой, и еще от того, что сам холм соседствовал с глухим забором этого детосодержалища, за которым (и это открывалось мне с самой вершины холмика) раскрывался дикий пейзаж обвалов – так назывались у нас провалившиеся выработки отработанных шахтных полей, буйно заросшие разнотравьем, чередуемым щебнем и глиной обрывов и оврагов, заполненных дождевыми и подземными водами. Все это заборное буйство как-то оказывалось для меня связанным с таинственной дверью погреба, поскольку я был абсолютно уверен, что дверь эта открывается только золотым ключиком и за ней находится вся обширная география волшебной страны, с ее могучими соснами, к смоле которых прилипла борода Карабаса (и в память об этом цвет ее именовался смоляно-черным), с болотами, в которых обитала Тортилла и ловил пиявок Дуримар, с полем чудес, на котором Буратино зарыл свои золотые. Заборные обвалы и дверь погреба сливались в единое, заказанное для входа, волшебное пространство, у которого было и более страшное ночное измерение. Там, в смоляно-черной задверной глубине погреба мне мнилось и обиталище жуткой бабы-Яги, сидящей на самом дне и простирающей свои длинные костлявые руки со страшными когтями, чтобы схватить меня и съесть. Каннибальский мотив пришел, очевидно, из сказок и дурацких игр взрослых, прикусывающих младенческую пяточку или бочок с шутливой угрозой «Вот я тебя съем!»

Все эти фантазии имели разные продолжения и эпилоги, порой отсроченные на много лет. Фантазия с бабой-Ягой, например, воплотилась весьма скоро, в том же детском саду, когда я, в своем извечном стремлении ухода из дисциплинирующих пространств взрослого произвола (спать днем, есть отвратительную манную кашу, засыпать непременно на правом боку, складывая ручки под щечку, не грызть прохладный цинк раскладушки, гулять на площадке собственной группы и т. п.) решился на побег домой. Дом мой находился на той же улице, на расстоянии полутора недлинных автобусных остановок, правда, на другой стороне дороге (перебегать которую без взрослого сопровождения также запрещалось). Вдоль всей улицы, которая шла сначала под горку, а затем, в районе клуба железнодорожников имени товарища Кирова начинала идти вверх, были устроены деревянные тротуары со ступеньками. Выбравшись за калитку детского сада я очень скоро обнаружил, что в погоню за мной послана огромная нянька, ступни ног которой и ладони казались великанскими. Я помчался вниз по тротуару что было сил, с оглушительным грохотом топя жесткими подошвами сандалий. Казалось, что я лечу, и мои ноги почти касаются лба и затылка. Не помню, подвели ли меня скользкие сандалии, или бегал я еще не так быстро, как научился позже, но очень скоро, через мгновения, я услышал сзади еще более сильный грохот настигающей погони и страшная рука схватила меня за плечо. Меня, насколько я помню, никак не наказали, но жуть погони и, главное, хватающей меня сзади громадной руки имели такой эффект, что много месяцев, а может быть и лет после этого я боялся того чувства беспомощности и паралича, которые настигают и хватают тебя сзади. Мне стали сниться кошмары, в которых я пытался убежать от когтистых рук бабы-Яги, но она всякий раз

настигала меня, хватала, и я с криком просыпался. Из-за ночных кошмаров и неурочных пробуждений во все оставшееся дошкольное и часть школьного детства я боялся темноты и умолял родителей оставлять дверь моей комнаты открытой, чтобы в нее проникал свет из их спальни. По этой же причине я опасался подвалов и погребов. По сию пору, когда неприятные обстоятельства принуждают меня делать что-то вопреки моей воли и желанию, я начинаю ощущать боль в правом плече, как будто рука бабы-Яги настигла меня, схватила и тащит в жуткое никуда. Власть оказалось вписанной в мое тело. Много лет спустя, будучи в экспедиции в одном из сибирских сел, где мне удалось обнаружить несколько десятков вепсов, при разговоре с одним из них я поймал себя на особом чувстве узнавания, когда мой респондент рассказывал мне свою версию легенды о чуди, ушедшей под землю. «Дед мой показывал мне на огороде черепа (речь шла о его детстве, проведенном на юго-востоке Ленинградской области). С кем-то мы воевали, то ли татары на нас шли, то ли кто еще... Наш народ испугался, вырыли погреб, а потом столбы подбили, и все там полегли, под землю ушли...» Я, как ветеран и инвалид войны с хтоническими чудовищами, услышав эту историю, содрогнулся.

Более светлая, «буратинская» часть моих видений также имела продолжение, но, скорее, юмористическое. У всех детей детсадовского возраста наверняка были свои представления о школе и учебе, составленные из обрывков сведений, поступавших от старших братьев и сестер, знакомых, родителей, книг и кинофильмов. В ту дотелевизионную эпоху книжные сведения (а за отсутствием братьев и сестер они были для меня определяющими, поскольку сам я начал читать лет в пять, а до этого я заставлял это делать для меня родители) были очень важным каналом получения всевозможной информации. Мой информатор и непререкаемый авторитет относительно критериев школьной успеваемости был, разумеется, Буратино. С его помощью я твердо усвоил, что главное в школьном деле – не ставить клякс в тетрадях, а главный предмет – чистописание. Это убеждение стоило мне потом многих усилий и мук. Писать тогда полагалось перьевыми деревянными ручками, старательно и ежеминутно обмакиваемыми в чернильницы-непроливайки, которые мы должны были таскать с собой в специально сшитых для них мешочках. Не ставить клякс при такой технике письма было совсем не простой задачей. Перо забивалось сором со дна чернильницы и бумажными волокнами, которые набухали от чернил и оставляли безобразные пятна на тетрадных страницах. Нужно было неустанно и бдительно следить за его чистотой для чего служили сшитые домашними тряпичные, или покупные кожаные перочистки. Плохое перо захватывало при обмакивании слишком много чернил, и нужно было стряхивать их избыток обратно в чернильницу. Прodelать это аккуратно не всегда получалось – капли летели на стол и тетрадь, или мазали пальцы, а уже с них отпечатывались на все той же многострадальной странице. Пишущую руку необходимо было все время держать на промокашке, иначе ты рисковал размазать уже написанные строки крючочков и палочек. По интенсивности концентрации усилий и внимания, о чем свидетельствовал и высунутый язык, которому тоже доставалась своя порция

чернил – анилиновый их вкус был ужасен – выполнение домашнего задания по чистописанию превращалось в своеобразную йогу и являлось, с моей точки зрения, самым эффективным средством и техникой *школения*¹². Всякая помарка в усвоенной мной идеологии мальвинизма-буратинизма была преступлением, я приходил в ужас и отчаяние, ассоциируя гнев Мальвины, обнаружившей буратинины кляксы, с гневом моей учительницы. Выход был один – замена страницы, которую сначала по моей просьбе осуществляла мама, а потом стал неуклюже проделывать и я сам. Иногда это было просто – металлические тетрадные скрепы разжимались ножом или ножницами и испорченный лист заменялся свежим. Но попадались и сшитые нитками тетради и приходилось после замены листа сшивать их заново. Форматы заимствованных страниц из других тетрадей не всегда совпадали с остальными страницами и тогда нужно было либо аккуратно обрезать излишки у вставляемого листа, либо, что было значительно труднее – у всех остальных листов тетради. Иногда испорченную страницу заменить было невозможно – на ее обратной стороне было уже проверенное учительницей задание, в этом случае как последнее средство в ход шли бритвенное лезвие и ластик. Переписывание набело испорченных страниц с его новым риском поставить кляксу не раз погружало меня в агонию отчаяния, но ни разу я не усомнился в перфекционистских воззрениях Мальвины...

Моя первая учительница действительно одобряла чистоту тетрадей и снижала оценки «за грязь» непосвященным в священнодействие чистописания. Впрочем, техника замены листов быстро распространилась и даже, позднее, уже не в первом классе, стала использоваться отдельными смельчаками для сокрытия двоек от родителей, что не могло быть скрыто от бдительного учета и контроля Веры Николаевны, так звали учительницу, и приводило к серьезным последствиям. Мои чистописательские навыки уберегали меня от подобных конфронтаций, но доставляли неприятности иного рода. С самого начала школы наша учительница не без оснований заподозрив в нас адептов мистических культов и враждебных идеологий, принялась насаждать единственно верное учение. При сохранении исходного завета – не ставить клякс, я узнавал дополнительные табу – не разбивать графинов, а если разбил – сразу сознаваться в содеянном. Кроме того, моя подготовка в октябрята состояла в шефстве над двоечниками, которых я должен был учить писать крючочки. Я воспринимал это как суровую и незаслуженную епитимию. Это ничем с моей стороны не спровоцированное наложение поста в итоге заставило меня поставить под сомнение непререкаемый авторитет учительницы. После четырех уроков, когда голова уже начинала болеть, а затем и кружиться от голода, я сидел в душном классе за одной партой с каким-нибудь оболтусом и демонстрировал ему свое каллиграфическое искусство. Не проникший в сердцевину учения чистописания неофит, с откровенным нежеланием и небрежением вместо мировой линии гармонии вычерчивал мерзкую загогулину, и все начиналось сначала. Позднее

¹² Для невнимательных читателей напомним, что дисциплинирование, и все процедуры воспитания и обучения, направленные на формирование соматических рефлексов подчинения, составляют

к занятиям с отстающими были добавлены иные духовные подвиги – бесконечные классные часы, на которых мы изучали биографии пионеров-героев. Поскольку вникновение в агиографию юных борцов проходила все в той же полубморочной обстановке подступающего голода и духоты, ее результатом стала неразделенная (и тщательно скрываемая) нелюбовь ко всем пионерам-героям, и весь мартиролог был немедленно вытеснен в небытие, стоило нам перейти в четвертый класс, в котором власть нашей первой учительницы закончилась.

Вспоминаю свою детсадовскую иллюзию, связанную с переживанием зависимости от прихотей мира взрослых с их расписаниями, жизнью по часам, нудными обязанностями и т.д.: я наивно полагал, что, оказавшись в школе, я сам смогу распоряжаться собой и своим временем. Те же иллюзии я питал, покидая школу, относительно института. И только аспирантура, и – еще в большей мере – докторантура, отчасти опровергли начинавшее зреть во мне убеждение, что зависимости, скрепы и узы – как вино, маказм и уксус – со временем только крепчают. Впрочем, в отличие от начальной школы, где меня вместе с другими жертвами неустанно школила моя первая учительница, остальные ступени школярства я преодолел сравнительно безболезненно. Я говорю «сравнительно» потому, что мне известны и иные «педагогические укрощения» если не чудовищные, то все же впечатляющие. Описанием одного из них, в качестве еще одной попытки фальсификации принципа теоретической редукции, или еще одной демонстрации несводимости мира человеческого опыта к одномерным объяснениям, я и хочу заключить мое повествование о травматической, трансформирующей и судьбоносной силе власти в отношениях между сильными и слабыми мира сего. Здесь я вынужден покинуть столь любезный мне жанр автоэтнографии, и привести один из поразивший меня рассказов моих студентов.

Время действия – середина 1990-х гг. Место действия – школа российско-го постпредства при ООН в Нью-Йорке. Я не хочу нарушать анонимность действующих персонажей этой истории. К счастью для меня, они уже покинули место развития событий. Далее следует изложение событий, максимально приближенное к оригиналу, я позволил себе лишь небольшие сокращения, стремясь сохранить стиль и манеру повествования моего респондента.

«... Математику у меня вела такая учительница, которую я не пожелал бы даже своим врагам. Это была дама аристократического типа, лет пятидесяти пяти. Она была женой высокопоставленного украинского дипломата и весь ее вид просто кричал о том, что она выше по своему положению, чем все остальные в школе. Ее внешний облик – высокий рост, пышнотелость, ношение рыжего парика и толстого слоя пудры – заставляли меня воспринимать ее как смесь дореволюционной «особы, приближенной к императору» и жены партийного босса советских времен. Она носила старомодные платья с меховыми воротниками и туфли на огромных шпильках; на ее пальцах красовались перстни с драгоценными камнями невероятных размеров, на шее висели роскошнейшие ожерелья, а на запястьях – не менее дорогие браслеты. Ее властность проявлялась во всем – от манеры говорить, до походки. Что это была за походка! Только по стучу каблучков лобой догадывался о ее приближении. Мурашки бежали по коже,

когда мы, сидя в классе, молча слушали приближение ее шагов. Я не знаю никого, кто мог бы так царственно выдерживать ритм шага. Размеренный, но не от усталости, а, как бы несущий угрозу стук ее каблуков был в нашем представлении похож на поступь приближающейся смерти. Она заходила в класс, где мы все уже стояли, молча вытянувшись по стойке «смирно». Просто невозможно было разговаривать, и еще хуже – сидеть, в то время, как она входила. Она окидывала нас взглядом, полным ненависти, готовая испепелить любого, если потребуется. Под этим взглядом я начинал чувствовать себя виновным во всех грехах, мыслимых и немыслимых, и хотел провалиться сквозь землю, выпрыгнуть в окно, сделать что угодно – лишь бы покинуть эту комнату. Трудно представить себе радость счастливого, посланного ею принести мел, или намочить тряпку, ведь это давало пусть минутную, но передышку от давившей и гнетущей атмосферы ее занятий. Иногда она входила в класс улыбаясь, но ее улыбка не дарилась надежды, она подавляла и заставляла еще больше бояться, она вообще не умела улыбаться по-доброму.

На уроках она кричала на нас, но мы не так боялись ее крика, как одной фразы, произносимой ей с тянущей интонацией плеера с севшей батареей: «Ну ты, мужик, попа-а-а-л! Теперь ты будешь проходить у меня школу молодого бойца!» Это означало конец относительно нейтрального обращения с учеником, и с этого момента его жизнь превращалась в ад. Она могла и ударить, и заорать так, что уши потом были заложены до конца урока, и заполнить все свободные клетки журнала напротив его фамилии «колами». И все это без тени жалости, или угрызения совести. А потом она приходила в другой класс (она вела математику в старших классах и пятом) и с удовольствием рассказывала как поставила только что одному парню из нашего класса 24 единицы. Она свободно собирала с нас дань – яблоки, бутерброды, воду, чипсы, все, что родители давали нам с собой на обеды; забирала все, что видела. И если нам, старшим, удавалось с огромным напряжением дожить до конца урока, то у пятиклассек часто случались срывы: дети плакали, отказывались идти на урок, а некоторые даже писались от страха.

Она желала властвовать и обладала властью. У этой женщины была поразительная харизма, как у Сталина. Сама она ничего и никого не боялась, но ее боялись все – от учеников до директора школы. Весь учительский состав вставал, когда она входила в учительскую. С учителями она общалась даже при учениках вопиюще фамильярно. Однако люди, сумевшие оказать ей упорное сопротивление, завоевывали ее уважение. Воспринимала она только силу, а неубедительные попытки протеста жестоко подавляла. В нашем классе она уважала только одного парня, который, учась у нее когда-то в шестом классе, дал ей отпор: на подзатыльник он ответил сильным ударом в живот. С тех пор она никогда не кричала на него, не отнимала у него бутербродов, и общалась с ним почти на равных. Единственная учительница, которую она уважала, добилась этого похожим способом, выкрикнув ей в лицо все, что о ней думала. Трудно сказать как она добилась этой практически ничем не ограниченной, диктаторской власти в школе. Может быть это получилось у нее потому, что большин-

ство учителей приезжало преподавать на два года, а она, как жена дипломата жила там уже пятнадцать лет, и могла не бояться выговоров директора, или завуча, зная, что ее всегда «отмажут». А может быть она достигла всего благодаря своей харизме.

Вот с таким человеком у меня и произошел конфликт. Я приехал в Нью-Йорк в первой четверти десятого класса и поначалу почти ни с кем не общался, и потому не был никем предупрежден о ее характере. На уроки математики я приходил с полной уверенностью в себе, я знал ее лучше других предметов и понимал ее лучше остальных; вообще, это был мой любимый предмет. И первые три недели действительно все шло хорошо. Она общалась со мной снисходительно, и даже помогала, если я чего-нибудь не понимал. А я ходил на ее уроки спокойно, хотя и заметил, как она обращается с другими. А потом произошел случай, который изменил ее отношение ко мне и перевернул мою жизнь. Она объясняла новую тему, а потом стала спрашивать по пройденному материалу; кто-то из ребят не смог решить у доски уравнения, она, как обычно, наорала на него и посадила на место. Затем подошла к доске и, записав собственноручно решение, спросила, все ли согласны. И тут черт меня дернул поспорить. Я увидел, что она неправильно разложила формулу, поднял руку и сообщил ей об этом. Весь класс с ужасом и сочувствием обернулся ко мне, понимая, что я веду себя как самоубийца. Она посмотрела на меня иным взглядом, чем смотрела прежде – взглядом, которого все боялись и которого с тех пор стал бояться и я. Сейчас я понимаю, что именно в тот момент она подчинила меня и взяла надо мной неограниченную власть.

«Чт-о-о-о? К доске-е-е!» – сказала она голосом плеера с севшими батарейками. «Ну ты, мужик, попа-а-а-л!» И она пообещала мне школу молодого бойца. Я вышел к доске и написал правильное решение. «Непра-а-а-вильно! Сядь!» – она перечеркнула все и без всяких объяснений вклеила мне двойку. С тех пор она стала обращаться со мной, как и со всеми остальными, и я тоже стал ее бояться. И все же часть прежней симпатии сохранялась из-за того, что я по-прежнему знал математику лучше остальных. Все продолжалось до декабря, а с января я перешел в американскую школу, чтобы выучить английский и был вынужден учиться по программе русской школы экстерном. Я приходил по вечерам и сдавал необходимые зачеты, а готовился к ним дома. Математика расценила мой уход как предательство. «Ты же у меня перл был, перл! И променять математику на английский! Куда ты с ним, с этим английским!» Ее отношение ко мне стало еще хуже, и я стал ее бояться еще больше. На вечерних занятиях она орала на меня, или разговаривала со мной голосом плеера с севшими батарейками. Я возненавидел ее, а вместе с нею и математику, которую прежде так любил. Я перестал думать над задачами, брать в руки учебник, приходил к ней на занятия. На три месяца я вообще забыл слово «математика». В итоге на годовой контрольной я неправильно оформил правильно решенные задания, и она хладнокровно поставила мне «тройку», зная, что тройка означает для меня потерю надежды на медаль. Я знал, что на будущий год мне предстоит вернуться в эту школу и с ужасом представлял себе, что со мной будет. К

счастью для меня, все обошлось. Она уже лет пять обещала уехать, и никто уже в это не верил. Однако летом она действительно уехала, и вся школа смогла вздохнуть с облегчением. Моя радость была безграничной. Мне разрешили передать математику и в итоге я получил серебряную медаль. Но любовь к математике была отбита у меня навсегда. Именно поэтому я учусь в этом гуманитарном вузе, подальше от математики и таких учителей. Я стал более осторожным в словах; прежде чем открывать рот, я пять раз подумаю и только потом говорю. Я до сих пор просыпаюсь в холодном поту, когда мне снится ее голос плеера с севшими батарейками: «Ну ты, мужик, поа-а-а-л!»

Детство вещей *

Начну свое сообщение с констатации определенного замешательства, которое я испытываю, обращаясь к аудитории собравшихся здесь профессионалов. Дело в том, что текст моего обращения был изначально выстроен как принципиально *непрофессиональное повествование*, и этот его дилетантизм и нескрываемое любительство объясняется не столько характером моего главного источника — *обыденного сознания* (можно было бы рассматривать это сознание и с позиций какой-нибудь из антропологических дисциплин, в предмет которой оно так или иначе входит, например, антропологии сознания). Они вызваны теми трудностями, с которыми я столкнулся, пытаясь использовать что-то из известного мне профессионального инструментария. Мне представляется, что дисциплинарное сознание не в состоянии уловить те моменты в отношении людей к вещам, которые меня волнуют. Помимо этого, сам язык, а точнее, языки, которыми оперирует дисциплинарное сознание, как бы иссушают живые отношения между человеком и вещами, и здесь для меня — главное.

Что я, собственно, имею в виду, называя отношения между человеком и вещами *живыми*? И есть ли способ передать не столько смысл, сколько сплавленные с ним переживания, которые связаны именно с «живыми вещами»? Мне кажется, что быть может не единственной, но одной из самых верных возможностей уразумения, а точнее совместного переживания этой вытесняемой на периферию профессионального дискурса стороны вещей является обращение к собственному опыту, и прежде всего — к опыту детства, когда эта сторона отношений с вещами переживается особенно остро и когда связь между человеком и миром еще не рассечена профессиональным *cogito*. В качестве примечания: я полагаю, что профессиональное сознание остается сущностно картезианским; посткартезианское сознание может рассматриваться как постдисциплинарное и, в этом смысле, как постпрофессиональное. Поэтому обращение к памяти детства позволяет, как мне кажется, ярче увидеть различия между *представлениями* о вещах у профессионалов и обывателей. Дети, как мне кажется, то ли в результате большей открытости миру, то ли в силу иных, неизвестных мне причин, обладают большим мифопоэтическим тактом и, в силу этого, входят в те миры, которые впоследствии оказываются для взрослых заказанными.

* Доклад на конференции «XX век: эпоха, человек, вещь» (Всероссийский музей декоративно-

С записью теперь уже полузабытых впечатлений от общения с вещами в детстве, разумеется существуют проблемы, но, как мне кажется, они преодолимы. Гораздо существенней мне представляется проблема жанра, в котором об этих впечатлениях можно говорить. Здесь, очевидно, я должен извиниться еще раз за дилетантство и неискушенность: так случилось, что до сих пор подавляющее большинство текстов, которые мне приходилось писать, были тексты в жанрах научной статьи, монографии, обзора и т.п., в каждом из которых пишущий скрыт за безличными конструкциями, а следы его присутствия, по законам этих жанров, всячески скрываются и маскируются. Единственными мне известными научными жанрами, где автор со своим эмоциональным отношением к событиям спрятан не окончательно – это жанры дневниковые (полевой дневник, дневник путешествий) и мемуарные (от повествования о других и себе до некролога). Все эти жанры мне не подходят либо по причине бесстрастной объективности, либо из-за того, что в канонизированный ими список сюжетов мой сюжет не вписан. Словом, я не смог найти тот жанр среди мне известных, который бы оснастил меня верными перспективой и интонацией, и, в результате, мне приходится довольствоваться, а вам мириться с тем коллажем, или пастисшем, который складывается из столкновения принципиально различных способов рассмотрения, задающих разные оптики видения нас в мире вещей и вещей в нашем мире.

Итак, пытаясь ускользнуть от оков профессионального сознания, я вынужден обращаться к опыту детства, и не детства вообще (это-то как раз и превратило бы меня в «специалиста»), а к памяти о своем собственном детстве и своих собственных отношениях с вещами. Конечно же, обращаясь к памяти об этих отношениях, я вынужден признать неустранимость опыта, «следующего за» детством, и тех неизбежно порождаемых этим опытом прочтений и интерпретаций, сквозь наслоения которых так трудно (и возможно ли вообще?) пробиться. Хотим мы с вами того или нет, но между детскими ощущениями и опытом и опытом повествования об этих ощущениях и опыте появляется со временем словечко «память», стирающее и подменяющее непосредственность и свежесть *тех* ощущений, на опосредованность и стертость *этих* слов.

Сказать о том, что мир моих отношений с вещами в детстве был околдованным, значит не сказать почти ничего. Попробуйте вспомнить сами практически любую вещь (я даже не говорю здесь о вещах заведомо антропоморфных, типа кукол, которых и язык не поворачивается назвать вещами) или даже её фрагмент (трещину на потолке, узор висящего у кровати ковра) из исчезающего мира *тех* нас, из мира нашего детства. Когда я сегодня слышу о том, что современное конвейерное производство изгнало из нашей жизни те очеловеченные и одухотворенные вещи, которые населяли мир до его появления, я, с одной стороны, кажется, понимаю, что здесь утверждается, но, с другой стороны, я ведь одновременно и помню, что эта массовость и вменяемое отсутствие индивидуальности нисколько не препятствовало полноценному общению с этими якобы «безликими» вещами, как, думается, и не является препятствием сегодня для наших детей и внуков, словом для *тех*, мир которых пока не раскол-

дован. Это «пока», конечно же, длится и, в этом смысле, непокидаемо: в каждом из нас живет ребенок, который помнит «тот стол» и «то дерево», и «тот дом», которые имели душу и с которыми можно было общаться точно так же или даже лучше, чем с иными людьми.

Помню, например, мое общение с оловянной ложкой деда, единственной, кажется, вещью, кроме пары пожелтевших фотографий, которая от него осталась и передавалась в семье, когда деда забрали в неведомом для меня тогда тридцать седьмом, оставив бабушку с семьей малолетками на руках. Ложка была на треть источена зубами сменявшихся поколений едоков. Есть ею - была большой честью и привилегией, которая доставалась в острой конкурентной борьбе с моим двоюродным братом. Ложка потом утонула в одном из водоворотов на слиянии Бии и Катуня, месте, где начинается великая сибирская река Обь. Тамошние острова были объектом нашего ежегодного паломничества: каждый год в июне мы отправлялись на лодке с ночевой на ловлю стерляди для именинного пирога, - коронного блюда на дне рождения у моей бабушки. Стерлядь ловилась ночью и самым ранним утром на переметы, на каждом крючке которых сидело по живой миноге, по местному называемой просто вьюном. Сама минога добывалась из придонного ила, скопившегося у старой пристани - единственном известном нам месте, где течение реки было слабым, и где дно состояло не из обычных для быстрой и холодной Бии песка и гальки, но черного жирного, неизвестно откуда взявшегося (перегнившие водоросли? занесенные в эту узкую протоку щепки и кора сплава?) ила. Ил полагалось быстро зачерпывать ведром и выбрасывать на берег, где он потом внимательно рассматривался на предмет обнаружения розовых и слепых, ужасно шустро извивающихся «вьюнов». Ложка утонула, выпав вместе со всем остальным скарбом, когда лодка перевернулась от волны проходившей в опасной близости «Ракеты» (тогда еще недавно пущенного по Бии теплохода на подводных крыльях), а память о ней осталась. Вернувшись в Бийск, город моего детства, как-то раз через много лет, я обнаружил, что Бия сильно обмелела, появилось много новых островов, и подумал, что может быть когда-нибудь эта река исчезнет совсем, как исчезла на наших глазах кедрово-пихтовая тайга ее истоков, и тогда мою ложку обнаружит какой-нибудь археолог из будущего, и она попадет в музей, ведь есть вещи, которые живут много дольше, чем люди.

Один из секретов этого «умения общаться» у вещей (и это их выгодно отличало от «человеческих собеседников», особенно патологически повзрослевших, то есть таинственным образом утративших опыт детства, или вытесняющих его и настаивающих на своей идентичности) заключался в их, вещей, способности (ну, разумеется, скажем мы теперь, не вещей, а нашего сознания) к бесконечным *трансформациям*: стол легко превращался в поле боя или корабль, ковер - в шкуру мамонта или древнюю рукопись на забытом человечеством языке. Не помню момента (видимо, не хочу его помнить, что само по себе свидетельствует о травматическом характере утраты), когда вещи начали терять (впрочем, не вполне, а как бы исподволь и по неуволимо малым частям) эту свою способность превращений. Речь не о том, что подобранная палка пе-

рестала становиться саблей или автоматом, как раз нет, не перестала, но она «потеряла лицо», превращаясь в «саблю вообще» или «автомат вообще», а не саблю и автомат с особой и неповторимой судьбой. И тогда, не утверждаю что у всех так, но повествовую о себе, вещи стали *собираться*; не так как мы, люди, сейчас – на конференции и симпозиумы, а в качестве *экземпляров* коллекции. Страсти и драмы живого общения со всеми персонажами сопresentствующего мира вещей стали как-то фокусироваться и сосредоточиваться на узком и, в силу этого, избранно-элитарном классе: спичечных этикетках, монетах, марках, морских и речных раковинах, минералах, бабочках, растениях на подоконнике (кактусах) и в гербарии (всех остальных). До сих пор помню свой трепет и полноту бытия «пред лицом» треугольной марки с изображением налим (одного из тех самых, которых я колол вилкой на галечной отмели в холодной воде реки моего детства) и надписью *Монгол шуудан*, или стоившую целое состояние серию марок королевства Бурунди с изображениями слонов, бегемотов, львов и прочих представителей местной фауны. Помню их запах (не налимов и животных, а марок). Помню белоснежную с нежно-кремовыми подпалинами редкую раковину из рода *Murex*, бог весть как нашедшую свой путь в тот шахтерский городок, где я совпал с ней во времени и пространстве и спас ее от незавидной судьбы пепельницы.

Вот, к слову, и о судьбах вещей, и это уже второй трюизм, вторая неновость из свойств вещей (помимо уже упомянутой околдованности и превращаемости), повествованием о которых я надеюсь развлечь читателя. Судьбы вещей, в отличие от уже, видимо, мной предугадываемых (конечно же ошибочно, то есть высокомерно и предвзято) судеб окружавших меня людей, всегда казались мне интересней и богаче. Наверное это было проекцией моей собственной небогатой событиями жизни, или, точнее, побочным продуктом восприятия этой жизни как недостаточно на фоне судеб вещей насыщенной: вещи пересекали недоступные для окружающих меня простых смертных и меня самого границы и приходили из эпох седой, как казалось, древности. Китайский чай путешествовал из-за географически для меня близкой, но от этого не становящейся более доступной границы, а зубы мамонта и костюм шамана в местных музеях, один из которых был создан усилиями моего учителя истории, были не только останками давно умершего мамонта и, по ощущению, едва ли не столь же давно умершего шамана, но и воротами в погибшие Атлантиды воображаемых миров, воплощающимися в моем мире тем «вещественней» и зримей, чем эфемернее оказывались сами вещественные свидетельства их, этих миров, прежнего существования. Трогать зуб мамонта (а это позволялось! – поздно, как непоправимо поздно я готов выразить свое восхищение и благодарность моему, увы, уже почившему школьному учителю) было могучим и действенным способом перемещения в каменный век, машину времени, и, боже, как я все же завидовал судьбам и этой пачки чая, и этого зуба, и даже этого шаманского костюма, этим уцелевшим свидетелям миров и эпох, вход в которые был мне заказан.

И к ложке, и к шаманскому костюму, и, вот еще – к деревенскому плетню

рядом со старым домом моей тети на Алтае, плетенному из почерневшей на солнце лозы, затвердевшей от времени и напоминающей какую-то ископаемую кость, – я время от времени мысленно возвращаюсь и, кто знает, может и этнографом я стал благодаря им, вещам из моего детства. Впрочем, как этнограф я никогда не занимался тем, что именуется на дисциплинарном жаргоне «материальной культурой». Казалось, что извлеченная из живого человеческого обращения вещь умирала. Вещи в частных коллекциях, в отличие от музейных экспозиций, представляются мне более счастливыми: их гораздо чаще касаются руки человека, их окружает аура сопричастности жизни владельца, их любят. Музей, конечно же, удобная экспериментальная площадка для специалиста, его полигон, его операционная, в которой вещи аналитически разлагаются, сопоставляются, сравниваются, выстраиваются в ряды и занимают свои места в классификациях и каталогах, обретая знаковую жизнь, далекую от их «нормальной»: никто не прядет на умолкнувших пряхках, молчат шаманские бубны, а алтайский кам, владелец костюма, расшитого нитками каури, скорее всего погиб в Шортанды – местечке, затерянном в казахской степи, куда ссылали в тридцатые годы, как я узнал позже из рассказов самих алтайцев, всех местных камов. Костюм сменил несколько музеев и экспозиций, скорее всего по обмену, пока не попал в известный мне тогда краеведческий музей, где я его и разглядывал, размышляя, впрочем, больше о, как мне тогда казалось, завидной судьбе выловленных, наверное, в Индийском океане раковин каури, а вовсе не об участии его прежнего владельца.

Быть может, угасание музейных вещей как-то связано с тем изначально примененным насилием (изъятием в ходе бесконечных наших экспроприаций, раскулачиваний, коллективизаций, сселений и переселений, укрупнений и т. п.)? Тогда вещный мир музеев и выставок распадается на *дары*, *находки*, и *добычу*. Драгоценные книги из музейной библиотеки того созданного моим учителем музея были *даром* некоего профессора Пенна, не по своей, видимо, воле оказавшегося в Сибири и являвшегося отдаленным потомком того самого Пенна, который основал штат Пенсильвания. Зуб мамонта, разумеется, относился к *находкам*. А вот костюм шамана, занимавший целый застекленный шкаф в другом музее моего детства – в городе, где я родился и проводил летние каникулы – был, конечно же, *добычей*, трофеем в узаконенном государством разбое.

Изъятие вещей из потока жизни и живого, не скованного ролью музейного экскурсанта, общения видится как еще одна причина их умирания. Знаковую, даже символическую жизнь, о которой я упомянул в связи с музейным заточением вещей, могут играть и играют и вещи «на свободе». Однако здесь они включены, помимо своих символических ипостасей, в многообразные связи и отношения с людьми и другими вещами и явлениями. Если мы с вами поразмышляем о загадках такой категории обыденного сознания как вещьность, то, мне кажется, мы придем к заключению, что вещь живет лишь в действии, поэтому, помимо прочего, в понятие вещьности входит *изнашиваемость*. Хранение вещей как антитеза изнашиваемости, их сбережение всегда поддерживается средствами мифологии, или идеологии: в случае семьи – семейными пре-

даниями; в случае музеев – официальными и поддерживаемыми государством и обществом представлениями о культуре. Мифология «теплее» идеологии, и вещам живется в ней уютней. Знаковость вещи в музейном контексте и ее же знаковость в потоке обыденной жизни – качественно разнятся. Именно из-за того, что за рамками музейного хранения вещь включена в более разнообразную и «свойственную» ей деятельность: прялка – прядет; молоток – забивает гвозди, окружающая такую вещь символика помимо общезначимого публичного измерения (того самого, на почве которого и вырастают официальные идеологии культуры) обладает еще и измерением личностным. Если кого-то не убедил мой пример с ложкой, я готов привести еще один, с уже упомянутым мной плетнем.

Как ложка деда, символизировавшая для меня весь мир уездного городка – бийского Заречья, где я часто проводил часть своих школьных каникул, так и плетень являлся для меня, городского мальчишки, воплощением загадочного мира русской сибирской деревни. Я упомянул слово «русской» лишь для того, чтобы подчеркнуть не свою близость, а наоборот, ту пропасть, через которую мне, приезжающему из города к родным для меня людям (в доме моей тетки, сестры матери, жил один из моих двоюродных братьев, с которым мы были неразлучны все детство) приходилось практически каждый раз заново выстраивать отношения, восстанавливая утраченное доверие, нет, не моих родственников, но всего их деревенского окружения, для которого не только я, бывающий там наездами, но и все мои родные, жившие там, практически всю жизнь, не были вполне своими (тетя учительствовала в местной школе, и деревенские ее выделяли по причине образования; дядя работал кем-то в конторе колхоза и, следовательно, относился к «начальству»). Я со своим городским русским языком поначалу едва понимал каждое второе слово и не только по причине иного их произношения, но и из-за того, что сами слова оказывались сплошь и рядом неизвестными. Причем деревенские оказывались все же более сведущими относительно мира, откуда явился я, чем я, плохо разбиравшийся во взаимоотношениях их вселенной: мой язык был знаком им по школе, радио, газетам; их язык и логика их поступков прояснялись для меня не вдруг. Приходилось учиться, сопоставляя виденное и слышанное, и постепенно уясняя, что, например, емуранки – это суслики, а кожушки – чертополох и татарник.

Но вернемся к плетню. В какие такие действия вовлечен был полуразвалившийся плетень напротив старой деревянной избы моей тети, освещавшейся по вечерам керосиновой лампой (электричества в те годы в этой деревне еще не было)? Стоял себе и стоял, неизвестно, кстати, что огораживая. Никакого дома напротив не было; тетина улица была однолинейная и недлинная, открывавшаяся на большой кочковатый луг, поросший этими самыми кожушками и другой разной травой, например, сусаком (тоже неведомое в городе слово, и подобно емуранкам, как это я выяснил много позже – тюркизм, проникший, скорее всего, от некогда соседствовавших кумандинцев), болотной травой, выдернутые беловатые концы стеблей которой какого-то чуть сладковатого и крахмалистого, но приятного вкуса, мы, мальчишки, с удовольствием ели. Из травы, когда мы босые мчались по ней (летом обувь надевалась только в случаях

поездки в город и только на время самой поездки, не по причинам экономии, а из-за того, что босиком было удобней) вылетали сотни бабочек голубянок. Впрочем, сам плетень явно кому-то принадлежал; дом его владельцев стоял в стороне, а за плетнем возносились высокие и густые старые ивы и, кажется, виднелся какой-то огородик с картошкой и неизвестно чем еще. Никогда я не видел обитателей этого дома – хозяев плетня. И хотя сам плетень был совсем рядом, наши детские маршруты не то чтобы за него, но и к нему никогда не пролегли, разве что он немо наблюдал за нашей игрой на лугу в лапту и бабки (игры, конечно же в ту пору в городе уже неизвестные, но в моей деревеньке продолжавшие жить). Самое главное действие плетня было даже не огораживание какой-то обходимой уважительным молчанием тайны, но то простое обстоятельство, что он был *сплетен*. Здесь уж я был вынужден опираться на свое воображение, поскольку понимал, что я сплести такой плетень не мог; нужны были крестьянские умения обращения с лозой и крестьянские руки, и хотя я никогда не видел хозяев плетня, но крестьянских рук в этой деревне я мог увидеть немало. Они поражали меня не меньше плетня и как-то рифмовались с ним, своей узловатостью, распухшими от работы суставами, обветренностью и цветом. Рассматривая плетень, я видел эти руки, а глядя на руки – я видел сплетения толстых обветренных ветвей. Руки шахтеров в городе, где я учился в школе и где жил зимой, были твердые, черные и разношенные, скорее похожие на шахтерские сапоги, чем на руки-плетни моих деревенских знакомых. До сих пор помню руки теперь уже давно умершей бабушки Арины, не моей городской бабушки, а бабушки моего двоюродного брата. Руки ее чаще других рифмовались с плетнем, так как жила она в доме тети, совсем от него недалеко. В дошкольном и раннем школьном возрасте я был абсолютно уверен, что именно она вырастила Пушкина, не только из-за ее имени, но и из-за ее певучего языка и деревенского проживания; то обстоятельство, что деревенька моя называлась иначе, меня нимало не смущало: Пушкин, мне было известно, убит, старушка переехала и воспитывала теперь моего брата, который выезжая в город страшно по ней скучал, даже иногда плакал и требовал отвезти его «к бабушке Арине». Здесь образ брата с его неизбывной тоской по деревенской старушке как то сливался с образом самого поэта, что еще более утверждало меня в подлинной сопричастности бабушки Арины судьбам русской литературы.

Получается, что главным свойством плетня и основным его действием, во всяком случае именно так он действовал на меня, было *отмыкание памяти*. Наверное вольная жизнь плетня, омываемого теплыми запахами парного молока и коровьего навоза, нагретой на солнце и не вдруг остывающей дорожной пыли и прелой листвы, а вечером – приносимыми из оврага за огородом звенящим от первого вечернего комара крапивным духом и волнами поднимающейся вместе с туманом симфонией речных ароматов от недалекой старицы, симфонией, в которой явственно различались ноты кувшинок и лилий, ряски и роголистника, а для равнодушного носа – даже запахи спящих в глубине рыб: тугих полосатых окуней, прохладной плотвы и ленивых линей, – запахами, которые так пропитали его, что уже даже, нет, не его вид, а только воспоминание

о нем властно перемещало меня в деревню. Прошло много лет, с тех пор как я расстался с ней. Но вот недавно, наткнувшись на магазинной полке на книгу «Плетение из ивового прута» я не смог пройти мимо. Старый знакомый смотрел на меня с каждой фотографии и рисунка, размножаясь и отражаясь в бесчисленных своих детках и внучатах – корзинках, абажурах, креслах-качалках, отворяя калитку в казалось навсегда ушедший мир деревенского детства...

Возьмем за спинку некоторый стул...

Статус такого рода вещей как мои знакомцы – плетень и ложка – трудно определим: для обычной вещи они избыточно общительны; но как живые собеседники – бессловесны. Наверное, в тесном общении с людьми вещи иногда расстаются со своей немотой, однако голоса их так тихи... Кстати сказать, вещам под силу общение и на специальных, то есть профессиональных языках – археологу они сообщают одно, искусствоведу – другое, криминалисту – третье. Кто знает, может быть у упомянутых мною даров, находок и добычи разная способность к языкам, вот почему музейные трофеи требуют профессиональных переводчиков-экскурсоводов?

Затрагивая тему о языках вещей, я не могу не прокомментировать то и дело устойчиво здесь воспроизводящийся сюжет противостояния обыденного (профанного) и профессионального (сакрального?) сознания. Собственно, как мне представляется, само становление и развитие музеев и музейного дела и в России, и во всем остальном мире шло бок о бок и являлось одной из сторон профессионализации, становления современных профессий и профессиональных сообществ. При всем многообразии современных музейных жанров и целей устройства музеев вообще, все они – от картинной галереи до выставки истории техники, и от музея восковых фигур, или рока, до обычного краеведческого с его традиционными экспозициями местной флоры и фауны – восходят к одному архетипу – собранию курьезов. Но что такое курьез, почему нам интересно посещать музеи и выставки, помимо чисто статусных и узко профессиональных интересов? Именно курьез и отношение к нему служит водоразделом между сознанием обыденным и профессиональным, миром взрослого и ребенка, современным рациональным и архаическим мифопоэтическим сознанием. Все дело в том, что и обыденное и архаическое и детское сознания приписывают вещам действительную силу, не проводя здесь отличий от людей и животных. Вещи могут оберегать и причинять зло; через чужую вещь приходит беда (порча, болезнь), а своя может защитить в сложных обстоятельствах. Курьез же в этом отношении, как вещь из другого мира (другого в терминах исторических, религиозных, этнических и т.д.), как вещь необычная и неведомая, становится опасной вдвойне. «Приручение» курьезов, произошедшее в профессионализованной культуре современности внутренне связано с идеей освоения и колонизации иных миров, овладения Другим. В этом смысле «музеефикация» миров иного продолжает быть связанной с основным политическим проектом модерна – глобальной экспансией, попыткой охвата и захвата

миром «своих», европейской культурой, всех остальных миров и культур. Вот почему музеи и музейная деятельность остается важнейшей сферой политического, культурной политики; это политика отношения к Другому, политика освоения «миром своих» разнообразных «инаковостей».

Я не случайно в качестве эпиграфа к этому разделу взял известную строку из стихотворения Иосифа Бродского. Может быть я вчитываю те смыслы, о которых я бы хотел говорить на ее примере. Но мне мнится, что в этой строке гениально сопряжены и помещены в единое пространство те два обычно противостоящих друг другу сознания, о которых уже велась речь, – сознание бытовое и обывательское («возьмем за спинку...») и сознание профессиональное и философское («некоторый стул...»). Обыватель «берет» стул в самом обыденном смысле слова, его отношение к вещи инструментально. Вещь хороша своим служением, исполнением конкретной функции. Профессиональное сознание «берет» стул как категорию, акт взятия равен акту схватывания, категориального «подвешивания», понимания, или рассмотрения. И здесь я опять хотел бы вернуться к теме музея, музейной вещи, то есть вещи, экспонируемой, выставленной на обозрение. Мне не кажется случайным появление слов, связанных с окулярной и оптической тематикой при всяком упоминании музея.

Я уже обращал ваше внимание на то, что изъятие вещей из потока жизни, то есть из живого контекста их обычного функционирования ассоциируется с их умиранием или заточением. В этом смысле архетипом восприятия музея для обыденного сознания становится склеп, мавзолей, или тюрьма. Метафора тюрьмы как изоляции опасных диковин, помещения курьезов в пространство, где их можно безопасно разглядывать, метафорического приручения чужих миров сопрягается с метафорой мавзолея, мумификации вещей, извлекаемых и изымаемых из живого функционирования и помещаемых в «хрустальные гробы» (музейные витрины). То, что в современном обывательском сознании произошла инверсия и прежде сакральное и сокрытое от взоров (мумии) стало выставляться на всеобщее обозрение¹³ не должно нас удивлять на фоне всеобщей секуляризации массового сознания. Мертвое для многих перестало осмысливаться как вредоносное; на него стало можно смотреть. Именно глаzenie, как «праздное глазопьяление без цели и толку»¹⁴ стало основным модусом взаимодействия с музейными экспонатами со стороны непрофессиональной публики, так называемых посетителей, носителей пресловутого обыденного сознания. Собственно, именно этот модус взгляда на вещи остается наиболее близким к изначальному образу музея как сборища курьезов: основная функция вещи здесь – удивлять, и музейные вещи и сегодня продолжают функционировать прежде всего в этом качестве.

Однако вещь в музее уже на ранних этапах музееустройства стала играть и продолжает играть еще одну роль. Сам музей как коллекция вещей здесь выступает не столько в качестве их усыпальницы и мавзолея, сколько как

¹³ Параллельная инверсия – опасность диковинных вещей из чужих миров сегодня переосмыслена как опасность для вещей («Трогать руками запрещено!»).

реставрационная мастерская, где реконструируются (реставрируются-восстанавливаются) уже утраченные (не данные нам в нашей повседневности) смыслы и связи. Здесь господствует иной окулярный модус – модус *всматривания*, заинтересованного *разглядывания* и разгадывания. Понимается – этот модус всецело принадлежит сознанию профессиональному. Профессионал (археолог, антрополог, искусствовед, зоолог, историк и т.д.) всматривается в вещь, пытается реконструировать тот мир значений, свойственный живой функционирующей вещи, который ушел, или недоступен для непосредственного наблюдения. Вещь попадает в музей (точнее помещается в него *специалистом*) либо как уже *ушедшая* из нашего обыденного мира (осколок былого быта, свидетельство иных эпох), либо как *экзотическая* (существующая где-то далеко, за пределами мира своих, и тем самым мало доступная), либо, наконец, как штучная, *уникальная* (диво, произведенное мастерством его автора; тот же курьез, но не из миров истории и чужих культур, а из запредельного для обывателя мира гениальности, мира творцов, которые, по известному слову и сами-то «не от мира сего»). В любом случае – музейная вещь, по определению, является вещью, покинувшей наш мир, ушедшей из него исторически, либо никогда в нем не находившейся («гость других миров»), либо, наконец, раритетом, редкостью, которая становится доступной только в ситуации публичного экспонирования, а до того известной лишь узкому кругу и, в этом смысле, никогда не принадлежавшей вещной культуре мира своих (элитарная вещь – картина, скульптура и т.п.).

Итак, музей оказывается пространством встречи двух взглядов на вещь и двух сознаний, рождающих эти взгляды – *глазения* и *всматривания*, сознания обыденного и профессионального. Существует ли возможность снятия (в смысле гегелевского *Aufhebung*), позитивного синтеза этих модусов? Мне известен лишь один историко-культурный пример (вероятно, есть и другие) – это *созерцание*, или *любование*, живое общение с вещью, *меняющее* человека и его состояние¹⁵. Речь идет о культуре любования, генетически восходящей к дзэнскому (чаньскому) созерцанию и буддистскому идеалу недеяния. Но что происходит в модусе такого созерцания с топологией миров своего и чужого? Вместо помещающего на безопасное расстояние *глазения* и *осваивающего* (объясняющего миры иного категориями мира своего) профессионального *рассматривания*, созерцание *остраивает* известное и привычное, разрушая иллюзию «свойскости» мира, вводит чужое в самое сердце мира своих. Но вводит таким образом, что «внешнее чужое», экзотика иных миров и культур, становится ненужно избыточной. Впрочем, мне кажется, я уклонился от темы.

О вечности вещей и веществ

В этом повествовании о вещах нельзя не упомянуть и о том, что их восприятие людьми постоянно меняется. Во всяком случае, я помню, что сама идея вечности (свойства быть вещью) с течением времени трансформировалась, то

¹⁵ Во многих европейских языках существуют детальные классификации окулярных модусов. Например, описанные различия в английском языке могут быть переданы глаголами *gape/stare/goggle*

ли только в моей голове по мере взросления, то ли и в обществе, в обыденном сознании окружающих меня людей тоже. Разумеется, что идея вещи, объем понятия «вещь» в неспециализированном, «профанном» сознании значительно отличается от соответствующих научных и философских представлений, да и классификации, производимые этим сознанием, быть может даже запутаннее и изощреннее научных. В обыденном сознании, например, сама «вещность» вещей ощущимо меняется в зависимости от конкретного референта – того объекта, к которому могло быть приложено нарицательное имя «вещь». Наибольшей вещностью обладали для меня вещи, сделанные человеком: стол, стул, ложка, молоток, которые, помимо рукотворности, имели свойства, как бы, наверное, выразился Хайдеггер, сподручности (*das Zuhandenen*), и соразмерности человеку. Такого рода вещи часто переживают своих хозяев и попадают в руки археологов, которые именуют их *артефактами*.

Ядром всего этого класса «сподручных» вещей были инструменты и оружие, для приведение в действие которых достаточно было рук одного человека: те же прясла, молоток, сабля и т.п. Несомненно, рукотворный дом, иногда построенный самим его обитателем, в сравнении с инструментами, с помощью которых он был построен – пилой, рубанком, молотком, гвоздями – был уже вещью в меньшей степени. Большой дом, к примеру, пятиэтажный, и построенный с помощью сложных механизмов и усилиями множества людей, вещью именовать было совсем сложно, да и никто его так не называл. Недвижимость, таким образом, принадлежа вещному миру, какими-то своими гранями (громоздкостью и несподручностью?) явно выходила за его границы. Дома могли иметь свои жизни и истории (как и инструменты – свои), но истории домов были более публичны, более официальные и доступны широкой публике, по сравнению с интимными семейными и частными историями «малых вещей» (исключая, пожалуй, драгоценности, которых, впрочем, в мире моего детства практически не было). У домов могли быть индивидуальные владельцы, и это наделяло их большей вещностью, чем, например, находящиеся в коллективном пользовании и столь же рукотворные, более того, даже построенные по сходным технологиям, мосты и дороги.

Были ли вещами нерукотворные *находки* – камни, раковины, кости исчезнувших животных? Несомненно да, однако и здесь многое зависело от сподручности и соразмерности человеку. Яблоко, например, оставаясь природным и нерукотворным «объектом» находилось ближе к воплощению свойств вещности, чем яблоня, камень – ближе чем гора. И горы, и реки, и леса, и луга, и болота, имея помимо нарицательных имен еще и имена собственные, вещами никто не называл и не считал. И огороды, сады и пашни, и крохотные по тем временам дачные участки и деревенские палисадники, приобретая некоторые смутные характеристики рукотворности и имея хозяев и пользователей, то есть входя в класс недвижимости, все же от этого вещами не становились, оставаясь *владениями*. Отклонялись от идеального воплощения вещности и вполне сподручные, соразмерные и рукотворные предметы так называемой духовной культуры и искусства – книги, картины, музыкальные произведения. Назвать книгу

или картину вещью, в особенности в восклицании «Это – вещь!»), конечно же было можно, но здесь это слово имело совсем иной, не вполне вещный смысл, приобретая служебный характер междометия. Кстати, уже скульптура, в особенности так называемых малых форм, входила в вещный мир и мыслилась его неотъемлемой частью: статуэтки, знаменитые слоники, фарфор – вещами и считались, и назывались.

Помимо инструментов, самостоятельное ядро вещности представляли собой вещи носильные – одежда, обувь, головные уборы; у животных – упряжь и сбруя. Но если у инструментов вещьность выступала прежде всего как сподручность, то в одежде на первом плане оказывалась соразмерность и рукотворность. Впрочем, фраза «Сколько у тебя вещей!» относилась прежде всего к богатству гардероба; такое же восклицание по поводу обуви уже не было возможным. Вещами, разумеется, именовался и весь домашний *скарб* – посуда, разнообразные емкости, флаконы¹⁶, коробки. Средства домашних увеселений (патефоны, радиоприемники, а позднее и телевизоры), другая техника – пылесосы, холодильники, мясорубки, представляющая собой механизмы-инструменты, промежуточный класс между сподручными инструментами и более громоздкими станками домашних ремесленников, иногда определялась в совершенно особый класс «дорогих вещей», основанием для выделения которого становилась их стоимость. К вещам же относились предметы мебели, постельное белье и многочисленные мелочи, выползающие из всех углов во время уборок, ремонтов и переездов. Вся эта «движимость» охватывалась одним емким словом – *пожитки*.

Не все вещи могли обрести собственную судьбу, к тому же завидную для людей; такое выпадало для самых износостойких и «многоразовых»: редко кто мечтал и размышлял об уникальной и индивидуальной судьбе конкретной спички, сигареты, или свечи, если только сама эта спичка, сигарета, свеча не была уж слишком экзотической – с зеленой, вместо коричневой серной головкой, с нездешним и непривычным ароматом и т.п. Только сказочники, подобные Андерсену, могли сочинять истории про иголку, наперсток или старый уже выброшенный башмак¹⁷. Хотя, вот уже про ложки, даже абстрактные, не присутствующие среди приборов в моей квартире, я мог фантазировать и сам, сонно зависнув над утренней кашей, которой меня стремилась накормить до школы мама, и не реагируя на ее предупреждения: «Ешь, не мечтай, опоздаешь!» Помню, как-то услышав английскую версию нашего выражения «родиться в рубашке» – «родиться с серебряной ложкой во рту», я долго размышлял о мире, в котором такие рождения были возможны. Счастливики, родившиеся с этими ложками, разумеется, берегли их как зеницу ока, передавали своим детям, а ложки самых великих из них, с затейливыми вензелями и необычных форм, оказывались потом в местных музеях, поскольку разные ветви разрастающихся семей никак не

¹⁶ Иногда посуда вместе со столовыми приборами и украшениями именовалась *утварью*, но значительно чаще я сталкивался со словоупотреблением, в котором утварь приравнивалась лишь *кухонной утвари*, а украшения исключались из объема понятия.

¹⁷ И здесь пролегает еще одна плохо демаркированная граница между *вещами* и *мусором*, в каждой

могли поделить это драгоценное наследство. Вокруг ложек вырастала собственная мифология и ритуалы, создавались клубы и тайные общества; мир серебряных ложек постепенно обретал свои особые, отличные от других обществ законы развития, следствия которых я и продумывал над остывавшими завтраками.

У вещей, что ни говорите, были судьбы, на мою же долю выпадала лишь незавидная участь виртуального свидетеля; вещи жили напряженной и полной приключений жизнью, а мое в ней соучастие ограничивалось прикосновением, кратким эпизодом их триумфального шествия по ветшающим людским мирам...

Вместо заключения

Ностальгия – сильное чувство; его форматворческое и стилеобразующее влияние на тот постоянно переписываемый проект, который на жаргоне модерна лапидарно обозначен иероглифом «Я», часто недооценивается. Сопутствующие и рифмующиеся с ностальгией (если не вдохновляемые ею) проекты по вписыванию индивида в историю, в ее обстоятельства места и времени (разнообразные упражнения человеческого духа в жанрах *мемо*, *мнемо* – все эти *мемуары* и разнообразные *гистории*) в самом их истоке оказываются связанными с непрекращающимися поисками идентичности как у отдельных людей, так и у огромных человеческих конгломератов – современных политических наций, что и объясняет частоту с которой переписывается история, и страсть, сопутствующую этому занятию. В этом смысле нет большего исторического вымысла, чем постулируемая некоторыми историографами *fides historiae*.

Доминирующим регистром, в котором человечество «переписывает» собственный портрет, обращаясь за вдохновением к создаемому *ad hoc* прошлому, является зрение; движения души остаются потаенными до тех пор пока не визуализируются в знаках письма, кадрах кинохроники, гримасах фотопортретов и скульптурах малых и монументальных форм. Помимо письма, остающегося привилегированным и доминирующим средством этого усилия по опредмечиванию калейдоскопически сменяющих друг друга проектов «потребного Я», пожалуй, лишь только фотография, благодаря своей «одомашненности» и сподручности претендует на роль важного инструмента визуализации прошлого¹⁸. Домашний фотоальбом, как послушная машина времени, всегда к услугам желающего в нем попутешествовать и, в виде утонченного и настроенного на вкусы и потребности «туриста» сервиса, готов послужить либо терапией от травм настоящего, либо источником вдохновения для творимого путешественником образа его собственного будущего и пока еще не нашедшего воплощения пересотворяемого *ego*.

И все-таки фотография – вовсе не автомобиль, или самолет, но не более чем грубые костыли для путешествующего во времени пешехода, сбившего ноги

¹⁸ Уступаю потребности напомнить читателю, что результат даже так называемой «моментальной фотографии», психологически воспринимаемый как фиксация настоящего, по интенции вдохновляющего её жеста есть прежде всего обращение из ещё не ставшего будущего к становящемуся прошлому. Кроме того, и в обыденном представлении фото остается всего лишь химическим сле-

о подробности быта. Её сила – непреложность видимого, эта овещественная империя света, одновременно является ее слабостью¹⁹. Слабость эта обусловлена исторической случайностью, в силу которой европейский *взгляд* на вещи возобладали над остальными, а зрение стало доминирующим каналом восприятия. Эта преобладающая редукция прошлого к *зримому*, и те невосполнимые потери, которые связаны с этой вивисекцией человеческого опыта – не могут не вызывать протеста.

Но, в самом деле, что могу я предложить взамен? Фотографии *публикуемы*, то есть, в буквальном смысле, сконструированы для *публичного потребления*, а, например, мир запахов, в отличие от зрительных образов, «цитируется» с грубыми цезурами и в условиях жесточайшего диктата нескольких парфюмерных компаний и засилья анонимного общественного *вкуса* (словечко с головой выдающего отсутствия настоящего *чутья* у его носителей). Доминирующие мнемотехнологии и способы передачи знаний и опыта в современном (и постсовременном) мире прилажены и настроены на визуализацию; ухо тоже используется, но даже для аурицентричных – звучит второй скрипкой: распространенность домашних фонотек, как средств обращения к собственному прошлому, к *звуковой уюности* погребенного временем мира – уступает вездесущности семейных фото- и теперь еще и киноархивов. Но где еще, кроме подвалов виноделов, вы сталкивались с укуренными экземплярами запахов прошлого?

Словом, дела обстоят так, что вместо приглашения вас в пульсирующий, звучащий и благоухающий мир, который удерживает моя память, я вынужден вам подсовывать плоскую версию его визуализированной кажимости. Но даже здесь приходится прибегать к многократному урезыванию и редукции, и вместо оригинала раковины и марки (а 90% очарования марки налима скрывалось не в изяществе ее палитры, а в тонкости и неповторимости ее аромата), я могу лишь привести лишь их фотообразы, к тому же (законы экономики определяют и выбор техник репрезентации) – черно-белые; и вместо 256-цветовой роскоши *tif*-формата, отраженной в паре миллионов пиксельных микрозеркал, вы получаете плохо пропечатанный примитивистский намек на образ, *greyscale, cropped and downsized* (да простит меня читатель за жаргон создателей программы фото-редактора, с помощью которой я *редактировал* - слышит ли ваше ухо созвучие между *редакцией* и *редукцией*? – подсмотренное, или – как в случае марки – дважды подсмотренное у реальности).

Реальность прошлого, прячущаяся в складках времени, ускользает, и требуются значительные усилия и ресурсы, не только душевные и эмоциональные, но также физические и финансовые, чтобы к нему приблизиться. Но если распоряжение тремя первыми видами ресурсов полностью зависело от меня, то наличие четвертого сильно ограничивало доступ если не к миру прошлого в

¹⁹ Напомню, что я рассматриваю здесь стратегии визуализации исключительно в их инструментальной роли, в горизонте конструирования прошлого и поисках идентичности, так сказать, *направленно к Свану*, и следовательно, все высказываемые здесь соображения остаются частными

прямом (и идеальном) значении этого выражения, то к наследовавшим ему мирам настоящего, по причине их географической удаленности. Словом, если бы не щедрость двух фондов, о которой я запоздало, но с признательностью упоминаю²⁰, не увидели бы вы ни фотографических свидетельств, намекающих на реальное существование ушедшего под воды памяти континента 1960-х гг., ни самого этого «вместозаключительного» послания, спровоцированного поездкой. Ностальгия была опознана мной как еще одной форма власти вещей и мне захотелось разобраться в истоках её силы.

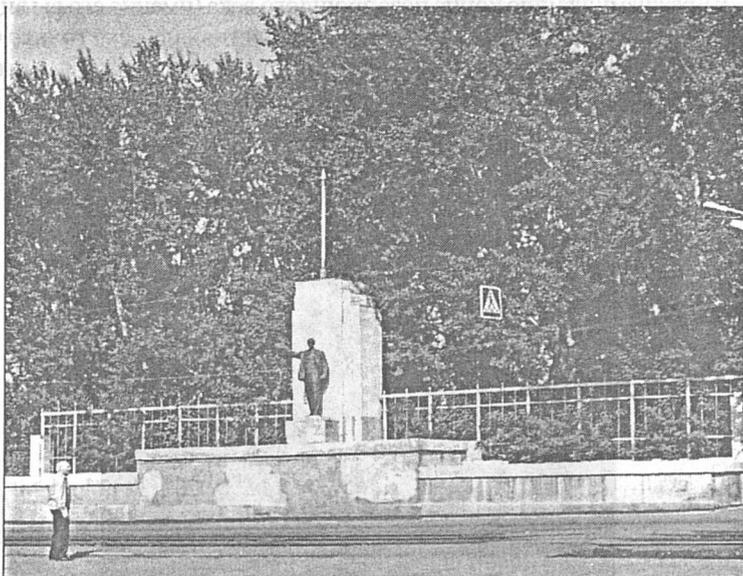
Лекарство от ностальгии – попытка невозможного, стремление вернуться в мир прошлого, чтобы покинуть его, то есть освободиться от его чар. Как обычно, чтобы не возвращаться, нам необходимо вернуться хотя бы однажды... Примерно это я и попытался проделать, уже написав оба приведенных выше доклада и выступив с ними перед учеными собраниями. И как обычно бывает с больными этим недугом, первое же столкновение с реальностью вдребезги разбивает иллюзию, что мы *меняемся*, а оставленные нами миры *пребывают*. Таинственная синхронность взросления нас и миров нами покинутых – лучшее подтверждение солипсизму; и это тихое бормотание промеж (и про) себя и шуршание воображаемых бумаг с оттисками воображаемых образов воображаемого мира – все что остается осиротелому сознанию... Это и есть следствия шока от встречи с останками мира, который ты помнишь живым.

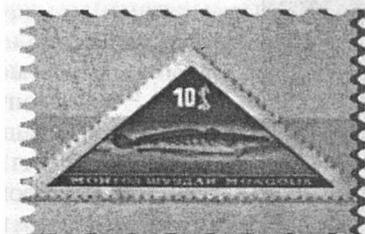
Впрочем, мир моего детства не умер, просто изменился так, что стал с трудом узнаваемым. И дело не только в том, что деревья (и горы и реки) перестали быть большими и весь он как-то съёжился; катастрофически изменилась атмосфера малых и средних городов, их покинутость и заброшенность, обозначившаяся в самом начале 1990-х, перешла в иное качество, стало частью не только обветшавших городских ландшафтов, но поселилась в людях. В поездке мне не могло не броситься в глаза, что крупные города и деревня выживают, и даже в чем-то более успешно, чем прежде; но мне трудно найти слова, чтобы описать степень разорения и сопутствующего ему отчаяния населения, не нашего выхода и погибающего от наркомании, пьянства и поножовщины. Городской театр, однако, продолжает упрямо существовать, и его труппа, пополнившись молодежью, продолжает ставить спектакли, подрабатывая на дискотеках и утренниках для детей. Здание театра продолжает гордо возвышаться над потускневшей и переставшей быть центральной театральной площадью, но обрамляющие его здания сильно обветшали, что видно даже на моей фотографии, снятой из арки одного из прилегающих к театру домов.

²⁰ Оба эти почтенных учреждения (а именно, Research Support Scheme, grant #1005/2000 и J.D. and K.T. MacArthur Foundation, grant #00-62615-000) не несут никакой ответственности за этот, имеющий сугубо косвенное отношение к финансируемым им проектам, побочный продукт моей поездки по Западной Сибири, что не отменяет для меня, тем не менее, необходимости засвидетельствовать мою благодарность и за возможность осуществления запланированных исследований и за незапланированные и несанкционированные этими организациями впечатления от прикосновения к



Стрибуны напротив одиноко простирает руку к западу еще одно, не упомянутое мною прежде, изваяние вождя, и тополя за ней по-прежнему прячут за своей шумящей листвой овраг с уходящей на север железнодорожной веткой и текущей на юг речкой Абой. Однако, в отличие от театра, который сохраняется и поддерживается как последний символ былого величия, на трибуне следы обветшания мира явлены весьма отчетливо: люди у власти брезгливо отвернулись от идеологии, которую они же столь запальчиво проповедовали еще так недавно. Теперь коросты и язвы партийности проступили как стигматы на её монументах, и лишь старшее поколение с тоской взирает на руины казавшегося незыблемым, а теперь вытесняемого в небытие мироустройства.



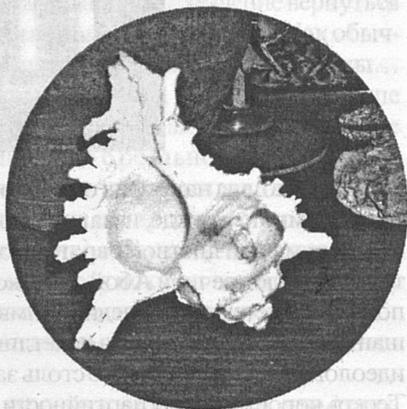


В моем тоже постаревшем и облупившемся доме, избегнув участи ветшающих вещей, сохранились раковина и монгольский налим. Марка сохранила даже свой неповторимый аромат, который, увы, я вам не смогу предъявить, подменив его пока неизвестным запахом какой-то типографской краски, которой будут набраны эти строки.

Сохранившаяся раковина утратила, однако, волшебную способность переносить меня в тропики Индийского океана.

Вообще обнаружилось, что хватка вещей ослабла, и что они имеют куда большую власть над памятью, нежели над моим сегодняшним мироощущением. И в этом я тоже поспешил усмотреть обветшание уходящей природы, явно проецируя утрату способности слышать голоса вещей и трансформируя её в немоту мира.

В другом городе моего детства, при той же склонности населения к психоделическим экспериментам над собой и обозначившимся тенденциям к опустыниванию ландшафтов и зарастанию душ, некоторые оазисы культуры, как упомянутый мной музей, увеличили свои владения – к прежнему зданию конца позапрошлого века (именно его вы видите на фото) прибавился роскошный купеческий особняк начала века только что миновавшего, занимаемый в разные годы советской власти разнообразными её органами – от НКВД до горкома партии.





Там я и обнаружил моего знакомого – шамана. Впрочем, от шамана остались только муляжи кистей рук и костюм, сбереженный заботами краеведов в музейных запасниках; зал музея украшал другой шаман, облаченный в более богатый наряд, предоставленный, как я узнал позже, его владельцем – Макаром Васильевичем Костораковым. Известный же мне костюм был передан музеем художником Д. И. Кузнецовым в конце 1920-х гг., но как он попал к художнику мне выяснить не удалось.

Другие герои моего повествования – плетень и луг в находившейся неподалеку деревеньке – предпочли, видимо, не путешествовать во времени, а навеки прописаться в моем детстве. О существовании



плетня напоминал лишь завалившийся домик его прежних хозяев, которые, как я узнал, были хотя и крестьянами, но не вполне русскими, так как носили немецкую фамилию Реймеров.



Мое путешествие в собственное прошлое оказалось проектом сугубо утопическим: на его развалинах я не смог обнаружить даже следов своих прежних воплощений. Вместо этого я обрел нечто совершенно неожиданное – моих пращуров.



Судя по особым образом завязанным платкам женщин и бороде прадеда, а также глухим намекам троюродной бабушки, предки мои были старообрядцами. Их неодобрительный взгляд в упор с пожелтевшего фото, на меня, вас и грядущую эпоху, уже даже в сибирской глубинке начинавшую заигрывать с Мнемозиной, ставит многоточие в затянувшемся путешествии по временам и эпохам, оставляя нам то ли надежду на его продолжение, то ли просто графический образ ушедшего мира, от которого осталось лишь это многоточие...



Мое путешествие в прошлое началось с поиска информации о предках, которые жили в Сибири. Я искал фотографии, документы, любые следы их жизни. Но найти ничего не удалось. Только это старое, пожелтевшее фото, которое хранится у бабушки. Оно показывает семью из девяти человек. Двое мужчин, трое женщин, двое детей и один младенец. Все одето в темную, традиционную одежду. Взгляды многих из них направлены прямо на камеру, что придает фотографии особый, почти мистический характер.

Вучетич Г.А.

Пископелъ А.А.

Щедровицкий Л.П.

Информация, информационная среда, информационное общество

Проблема информатизации общества – комплексная проблема, в решении которой принимает участие широкий круг специалистов разного профиля: от социальных философов до инженеров-технологов. Неизбежное в такой ситуации предметно-тематическое многообразие точек зрения, ценностных ориентаций, теоретических средств и методов делает актуальным теоретико-методологический подход к решению этой проблемы – как изначально ориентированный на согласование разных форм деятельности и профессионального мышления в концептуальном и организационном плане. Конечно, без некоторого огрубления и упрощения возникающих здесь вопросов, без сознательного акцентирования внимания на вполне определенной – концептуальной – стороне дела в этом случае обойтись невозможно. Важнейшее звено любого концептуального подхода – проработка понятийного аппарата как основы постановки и решения сложных социотехнических проблем. Без основательной «прочистки» такого рода средств и устранения присущих им внутренних противоречий, без стремления к поиску единой основы существующего разнообразия понятий и представлений невозможно предложить и общего взгляда на выражаемые ими общественные и узко-технические процессы¹. В настоящей работе предпринята попытка анализа содержания ряда ключевых понятий, неизбежно присутствующих в любом обсуждении проблем информатизации общества.

1.1. В огромном потоке социально-философской и научно-технической литературы, посвященной проблеме информатизации общества, часто встречается термин «информационная среда» (инфосреда), применительно и к обществу в целом, и к его отдельным сферам (например, «инфосреда науки»), и к видам социально-значимой и институционально оформленной деятельности. Однако это скорее всего метафора или «собирательное» понятие, рисующее образ некоего пространства (информационного), заполненного, или высланного «информацией» как особого рода субстанцией в той или иной ее форме, пригодной к хранению и воспроизведению. В этом случае, на категорию среды возлагается выполнение функций объединения и упорядочивания всех видов и форм информации вокруг ее возможных потребителей (от индивида до общества), его погружение в действительность особого рода, «через которую человек может получить любой фрагмент социальной информации, которую в случае ее досто-

¹ Мы, в данном случае будем исходить из теоретико-деятельностной версии такого подхода, ориентированной на ценности системно-структурной методологии познания и знания.

верности следует понимать как отчужденное от индивидуума, обобщественное и закрепленное на материальном носителе знание» (Шапиро 1988: 73).

Очевидно, что там где понятие инфосреды используется только для экспликации других базисных теоретических понятий и с ним не ассоциировано какое-либо особенное концептуальное содержание, такого рода представления об инфосреде вполне достаточно. И наоборот, его явно недостаточно там, где речь заходит о специальной концепции инфосреды как организационном условии и форме жизнедеятельности современного индустриального (постиндустриального) общества, тесно связанной с теориями «информационного общества», «информационной цивилизации» и т.п. В этом случае термин инфосреда не может выражать понятие, имеющее раз и навсегда данное содержание. Сама определенность его содержания может быть лишь процессом и результатом утверждения такой концепции.

Вместе с тем, какое-то предварительное, если не концептуально-тематическое, содержание всегда по необходимости предшествует любой концептуально ориентированной работе, заставляя определить свое отношение к такому, с одной стороны, исходному, а с другой – завершающему понятию. Поэтому, предварительное уточнение понятия информационной среды представляется нам здесь не бесполезным. У этого понятия есть два концептуальных фокуса, определяющих его категориальный статус: один из них – «информация», другой – «среда».

1.2. Понятие *информации* за несколько последних десятилетий приобрело статус фундаментального философского и общетехнического понятия, имеющего много различных аспектов и способов операциональной интерпретации. Нас здесь будет интересовать лишь тот его аспект, который является доминирующим в современной информатике, прежде всего при рассмотрении процессов информатизации общества.

В этом контексте основная проблематика так или иначе сконцентрирована на со- и противопоставлении «информация – знание», на обсуждении вопросов сходства и различия между ними, единства и противоположности. Наиболее рациональной представляется нам здесь позиция, согласно которой информация есть определенная *форма знания*, предназначенная для его накопления, обработки, передачи и т.п., – знания, отчужденного от непосредственного владельца, обобщественного путем вербализации и закрепленного на материальном носителе. При этом «определенная форма» знания часто интерпретируется как *модель знания*, позволяющая его творчески (в акте усвоения) воссоздать².

Вместе с тем представляется неоправданным использование понятия «знание» в качестве родового понятия для «информации». Знание – как идеальный образ материальных и духовных объектов (явлений) – связано лишь с одной из

² Характерно, что для сторонников такой точки зрения «информационная среда оказывается «библиотекой» информационных моделей знания, обладающих креативной прагматикой, требующей от пользователей способности творчески воссоздавать закрепленные в тексте знания» (Шрейдер 1988)

установок сознания (гносеологической), одной из деятельных способностей субъекта (отражением). Понятие же информации инвариантно любому из таких возможных отношений – идеальный замысел, художественный образ, аксиологическая установка, социальная норма и т.п. не являются собственно «знаниями», однако они существуют в форме информации, могут быть ее содержанием. В определенном смысле информация делает их эквивалентными по форме. По отношению к ней все они оказываются разными видами *идеальных* (духовных) *значений*, а она сама – той формой, в которой они становятся предметами социальной трансляции. Как предметные «организованности» социальной трансляции все виды духовных значений оказываются тождественными, превратившись в информацию, и их разотождествление возможно только за рамками этого процесса и связано с непосредственной актуализацией. Лишним подтверждением правомерности такой точки зрения могут служить успехи математической теории информации как «чистой» теории связи и ее неудачи как содержательной теории, принимающей во внимание «ценность» информации.

Таким образом, наше уточнение охарактеризованной выше позиции в отношении смысла и значения понятия информации (в сфере информатики) связано с *рациональным обобщением* – переходом от понятия знания к родовому для него понятию идеального (духовного) значения как безразличного к виду субъект–объектного отношения (деятельности). С этой точки зрения любое духовное значение может стать предметом социальной трансляции только обретя форму информации. Сама же эта форма представляет собой конвенциональное преобразование материального предмета (носителя) в соответствии с характерными особенностями процесса социальной трансляции, обеспечивающее его конечную эффективность.

1.3. Второе из интересующих нас здесь понятий – понятие *среды*, используемое всей современной наукой от физики (физическая среда) до социологии (социальная среда). Однако при всей своей широкой распространенности, концептуальный статус этого понятия во многом является неопределенным. И эта неопределенность (свойственная понятию практически во всем спектре его употреблений) не случайна, а является логической характеристикой самого понятия. Оно, как правило, является одним из членов со- и противопоставления в понятийной паре, представляющей теоретический универсум (организм – среда; человек – социальная среда, общество – природная среда; и т.п.). При этом такая теоретическая парадигма сугубо функциональна и определяет особенности теоретического видения, опредмечивающего свою точку *фиксации* (зрения-созерцания) в виде объекта и распредмечивающего все ее окружение в виде среды.

Такое представление восходит к Аристотелю, для которого среда (физическая) была неким, опосредующим предметы, проводником их взаимодействий (в отличие от пустоты). Чем более бесформенной, нейтральной, несамостоятельной и т.п. была та или иная «субстанция», тем больше она выражала в себе качество среды, элиминируя пространственную разобщенность физических (и

живых) тел. Для такого умозрения характерны, в основном, те же особенности, что и для обычного зрения. Все более или менее удаленное от зоны ясного видения (фовета) теряет свою собственную определенность, различия и т. п. и приобретает характер некоего фона, не столько актуально видимого, сколько перцептивно сконструированного в соответствии с законами восприятия. Если объект зрения и умозрения обладает отчетливыми структурно-функциональными характеристиками, то соотносительная ему среда таких (онтологических, т. е. присущих ей «самой по себе») характеристик лишается – она, как правило, проста, однородна, «всюду плотна» и т. п. Можно в первом приближении утверждать, что физическая среда безразлична существованию (физических) объектов, но является условием их действительности (взаимо-действия). В дисциплинах биолого-антропологического цикла понятие среды усложняется. Здесь оно, наряду с условием действительности объектов (субъектов), начинает выражать необходимое витально-летальное условие самого существования субъектов жизнедеятельности.

Напомним, что с логической точки зрения *условие* есть то, суть чего находится не в себе самом, а в другом (условием чего оно и является). Другими словами, среда как условие обладает определенностью только по отношению к некоему субъекту (объекту) и тем самым его определенностью (см. традиционный набор ее атрибуций: благоприятная, питательная, защитная, живительная или агрессивная, враждебная, опасная, вредная и т. п.) независимо от того идет ли речь о среде нейтральной, пассивной (физической) или активной (социально-биологической). Разница лишь в том, что в случае активной среды, взаимодействующей с субъектом, она, с одной стороны, присваивается и усваивается им самим (субъективация), а с другой – усваивает и присваивает «его» самого и прежде всего продукты его жизнедеятельности (утилизация). Тем самым, в отличие от физических тел, субъекты жизнедеятельности не являются замкнутыми, самодостаточными целостностями, абсолютно отличными от среды их жизнедеятельности. Скорее, наоборот: среда как обладающая соотносительной (с субъектом) определенностью является «субъектом – в – потенции». Зависимость субъекта от среды его жизнедеятельности выражается здесь понятием потребности (субъект–объектное отношение), а процесс взаимообмена между субъектом и средой – удовлетворения потребности.

Таким образом, среда есть прежде всего ареал жизнедеятельности некоего субъекта, являющийся необходимым условием его существования и/или действительности и обладающий определенностью его потребности. А *информационная среда* (инфосреда) – это такой ареал жизнедеятельности того или иного субъекта, в котором необходимые для его существования и действительности духовные значения производятся и воспроизводятся в форме информации, обеспечивающей полное и своевременное удовлетворение возникающих у него духовно-информационных потребностей.

2.1. Уточняя в предварительном порядке смысл и содержание понятия инфосреды, мы опирались на традиционное истолкование содержания поня-

тийных компонентов сложного термина, как бы впервые конструируя это понятие. Такой подход обычно называют формальным, так как он полностью игнорирует реальные обстоятельства и побудительные причины, вызвавшие к жизни то или иное понятие или представление. В то же время, для деятельностного подхода, на ценности и нормы которого мы здесь ориентируемся в первую очередь, характерно внимание именно к генезису того или иного понятия. Ибо, с его точки зрения, в полной мере понять смысл и раскрыть содержание (объяснить) того или иного теоретического конструкта (концепта) можно лишь тогда, когда выявлено, средством решения какой проблемы он является. Другими словами, появление любого понятия связано с рефлексией (осознанием), анализом и снятием определенного содержательно выраженного и теоретически оформленного противоречия. Разрешенное противоречие приобретает форму понятия и в этой превращенной форме входит в другие теоретические системы и становится достоянием культуры.

Каковы же потребности и социокультурные обстоятельства появления такого понятия, как «информационная среда»? Или, другими словами, при решении какого рода проблем(ы) складывается и оформляется это понятие, каков его референтный круг?

Понятие инфосреды появляется вместе с рядом других понятий, включивших в состав выражающих их терминов прилагательное «информационный»: информационное общество, информационная деятельность, информационная технология, информационная услуга и т.п. Весь этот круг понятий призван описывать и объяснять феномен *информационной революции* как нового современного этапа научно-технического прогресса и нового этапа социально-экономического развития общества. Достаточно очевидно, что общественный прогресс вообще, и научно-технический, в частности, не выстраивается в одну единственную линию, объединяющую эпохи пара, электричества и информации как непосредственно следующие и вытекающие друг из друга. Скорее, это результат ряда достаточно самостоятельных, хотя и коррелирующих друг с другом линий (тенденций) социально-экономического и научно-технического развития. Применительно к информационной революции, и прежде всего к процессу информатизации тех или иных индустриальных стран, это означает, что их успехи обусловлены не только и может быть не столько особенностями информации как ресурса особого рода, сколько более глубокими и основательными процессами и тенденциями. Это обстоятельство в той или иной степени уже неоднократно отмечалось целым рядом специалистов (см.: Новая технология... 1990).

С подобной точки зрения информационная революция оказывается лишь формой проявления этих глубинных процессов и тенденций и пожинает и их плоды тоже. Если представить и охарактеризовать их в целом, то можно утверждать, что успехи современных информационных технологий определены успехами «технологии нововведений» – *социотехнической метатехнологии* превращения оригинальных и перспективных инновационных идей в проекты и программы модернизации традиционных и организации новых видов и форм

социально значимой деятельности³. Об эффективности инновационной метатехнологии можно судить по успехам информационной индустрии на общемировом рынке, где единицей обновления продукции «является не пятилетка, не два или три года, а месяц: именно через такой промежуток времени на западных рынках появляются новые образцы ЭВМ или другого оборудования в области обработки информации» (Никуличев 1990: 47).

Характерно, что в созданной в начале 90-х гг. «Концепции информатизации советского общества» (ВНИИСИ) из двух путей развития информатизации в стране – в рамках централизованного управления или путем дерегуляции – однозначно предлагался второй путь, где государственные усилия ограничиваются только созданием условий для саморазвития этого процесса. Однако основной упор в этой концепции был сделан все же на собственно информатизацию, в надежде найти «нетривиальные и нетрадиционные» решения, позволившие бы принять широкий комплекс мер по подготовке нашего общества к информатизации, сама же инновационная метатехнология осталась как бы в тени и не была непосредственно вписана в этот процесс. Нам же представляется, что отношения здесь должны были быть прямо противоположными, и только сделав упор на «выращивании» метатехнологии нововведений можно было, как на ее следствии, решать и проблемы информатизации нашего общества.

2.2. Если отправляться от идеи метатехнологии нововведений, то информационная революция, со всей обслуживающей ее идеологией «информационного общества», «эпохи» и т.п., превращается, так сказать, из возможности в историческую действительность при созревании целого ряда в общем случае независимых от этой метатехнологии предпосылок. Предпосылкам этим несть числа, и все они так или иначе обсуждаются в литературе. Самое главное здесь – это выделение среди них ведущих, определивших, в конечном счете, успехи новых технологий. Но именно такого рода ранжирование в наибольшей степени зависит от особенностей выбранного подхода.

Характерным для ретроспекции является представление, что «информация всегда была главнейшим, по сравнению с веществом и энергией, фактором в жизни общества, просто речевой обмен и письменность при внеисторическом подходе, традиционном для прошлых эпох, казались столь естественным и неотторжимым, что им не придавали особого значения» (Кацура 1988: 6-7). Соглашаясь с интенцией, коренящейся в такого рода суждении, нам представляется, что оно нуждается в уточнении. Речь, как уже отмечалось выше, должна здесь идти не об информации как таковой, а о духовных значениях, принадлежащих к конституциональным элементам любых форм человеческой, социально-значимой деятельности. С появлением мира духовных значений (мира идеального), аккумулирующих и обобществляющих коллективный опыт (культу-

³ «Не осталось ни для кого секретом, в том числе и в нашей стране, что локомотивом такой инновационной метатехнологии являются конкурентные структуры и механизмы рыночной экономики, всесторонне и дифференцировано обеспечивающие удовлетворение потребностей всех субъектов общественной жизнедеятельности (от индивида-личности до общества)» (Пископтель, Смолян 1993: 60-61).

тура), непосредственно связано само появление и развитие общества и общественной жизни. Ибо, являясь регуляторами человеческого поведения, идеальные значения становятся гарантиями подлинности человеческого существования. Но таковыми они являются только в социально значимой форме – в форме информации. Поэтому, конечно, становление идеального мира (в его личной и общественно выраженной форме) – это одновременно и появление мира информации, и тем самым общественное развитие всегда было связано с развитием духовно-информационных ресурсов общества.

До самого последнего времени это были, как известно, ресурсы «бумажной» информации, со всеми присущими ей возможностями и ограничениями. Основными особенностями такого развития были, во-первых, его неравномерный, локально-самостоятельный характер (когда более развитые, перспективные виды деятельности опирались и на более мощные ресурсы), во-вторых, его вторичность, когда такое развитие определяется потребностями других (неинформационных) видов и форм деятельности.

Если взглянуть на этот исторический процесс через призму теоретико-деятельностных идей и представлений, то он может быть проинтерпретирован как становление и развитие определенного вида социально значимой деятельности, а именно «информационной деятельности» (инфодеятельности). Существует много разных подходов и принципов определения видового многообразия, конкретизирующего объем и содержание понятия «деятельность вообще»⁴. В качестве ведущего мы будем здесь иметь в виду целе-результативный принцип выделения разных видов социально значимой деятельности. Так, в частности, под информационной деятельностью мы будем понимать такой вид деятельности, целью которого является получение социально-нормированного *информационного результата*. Традиционно различают два вида «информационных результатов» деятельности: «информационный продукт» и «информационная услуга», – где под информационным продуктом подразумевают информацию, размещенную и закрепленную на определенном материальном носителе и обладающую тем самым характеристиками предмета (информационного потребления), а под информационной услугой – изменение состояния (информированности) субъекта (потребителя) в процессе информационного взаимодействия. Или, другими словами, в информационном продукте информация как самостоятельная сущность пребывает в пространстве-времени и обладает тем самым характеристиками *предмета*, а в информационной услуге – только во времени и обладает характеристиками (информационного) *канала*.

При этом мы хотим обратить внимание на принципиальное для нас обстоятельство, связанное с различением *духовных значений и информации*. Там, где их не различают, к информационной деятельности начинают относить философскую, научную, художественную и т.п. виды деятельности. В результате,

⁴ В частности, ее можно представлять как субъект–объектное опосредование, носящее предметно-продуктивный характер и позволяющее удовлетворять потребности субъекта (снимать противоположность между ними) за счет создания особого предметного (социального, т.е. преобразованного в соответствии с человеческими потребностями) мира.

объем понятия «информационная деятельность» стремительно растет, а содержание уменьшается. Все эти виды (творческой) деятельности направлены на создание определенных духовных значений (знаний, художественных образов, принципов действия и т.п.), которые *только объективируются в виде информации*. В значительной мере результаты креативных видов деятельности инвариантны носителям духовных значений, а смысл и содержание релевантны совсем иным, не информационным категориям.

2.3. Если мыслить общественное развитие непосредственно связанным с дифференциацией, ростом и усложнением многообразия видов социально значимой деятельности, то сугубо схематически можно выделить пять основных ступеней генезиса и соответственно форм существования качественно-определенного вида такой деятельности, в зависимости от осуществляющего ее «субъекта». Обозначим эти ступени и проиллюстрируем восхождение по ним на примере одной из самых древних инфодеятельностей – почтовой.

На первой из таких ступеней эта деятельность существует лишь как качественно определенное «действие» в рамках индивидуальной деятельности другого типа. Скажем, на этом уровне информационно-почтовая деятельность осуществляется тогда, когда мы записываем какую-нибудь информацию «на память» в свою записную книжку, т.е. «отправляем» информацию самим себе (*парциальный «субъект»* деятельности – поскольку самостоятельный «субъект» отсутствует). На второй уровень та или иная деятельность поднимается одновременно с появлением индивидуальной формы деятельности данного типа, целью и результатом которой становится перманентное производство и воспроизводство некоего специфического (например, информационного) продукта (появление профессии). Социальный институт гонцов – вестников побед и поражений древних армий – можно рассматривать как зарождение индивидуальной почтовой деятельности («субъект» деятельности – *отдельный человек*).

Третий уровень связан с развитием кооперативных, групповых структур, позволяющих социально распределить (усложнить) определенную форму деятельности между несколькими, взаимодействующими людьми, каждый из которых выполняет типологически одну и ту же деятельность. Именно так появилась и долго существовала эстафетная почта (которая отмерла только после появления железнодорожных путей сообщения). Когда один гонец передавал свое сообщение другому, каждый из них не был в состоянии выполнить почтовую миссию полностью, и только все они вместе передавали сообщение от отправителя получателю («субъект» деятельности – *группа*).

Когда та или иная деятельность начинает осуществляться специализированными оргсистемами (учреждениями), становящимися самовоспроизводимыми социальными структурами, то это означает, что она вышла на следующий – четвертый уровень социально-технического развития. В отличие от предыдущей, групповой, формы так организованная деятельность абсорбирует и воспроизводит в себе и другие типы социально значимой деятельности и является формой их организационной интеграции, сохраняющей, тем не менее, свою

типологическую определенность. При сохранении типологической определенности основного процесса и механизма деятельности он обеспечивается здесь разного рода вспомогательными процессами и механизмами (инфраструктура), направленными на поддержание и увеличение эффективности основного процесса («субъект» деятельности – *персонал организации*). Именно так организована современная почтовая служба, несмотря на то, что ее задача, в основном, стара как мир – передача сообщений из пункта А в пункт Б.

Наконец, достигая пятого уровня, социально значимая деятельность определенного типа становится «сферой деятельности». Это означает прежде всего, что она пронизывает все общество и становится непременным условием общественной жизни как таковой. Или, другими словами, появляется пирамида общественных потребностей в этом виде деятельности у субъектов общественной жизнедеятельности разной степени общности. На этой ступени появляются специализированные органы оргуправления, возникают присущие такой деятельности формы общественного, профессионального самосознания, перманентно разрешающие противоречия между тенденциями саморазвития этого частного вида деятельности и интересами общественного целого. Наконец, это означает и появление *профессионального этоса*, с присущими ему ценностями и идеалами, образующими вместе с системой профессионально-социальных норм сферу профессиональной культуры. Если попытаться охарактеризовать эту стадию развития социально-значимой деятельности в целом, те можно было бы назвать ее стадией (уровнем) универсумализации деятельности («субъект» деятельности – профессиональное сообщество).

Возвращаясь к нашему примеру, нетрудно заметить, что современная почтовая служба приобрела многие черты сферы деятельности, но в то же самое время достаточно очевидно, что она никогда не станет такой сферой, как современное производство, наука и т.п. и самостоятельно не способна подняться на этот пятый уровень. Но последнее и не означает, что она не может подняться на такой уровень не непосредственно (как видовая определенность), а в своей, так сказать, родовой сущности и форме. Больше того, есть определенные основания для утверждения, что это как раз и происходит на наших глазах, и именно такой процесс получил название *информационной революции*. Конечно, «электронная почта» не очень похожа на «старую» почтовую службу, но типологически это все тот же вид социально-значимой деятельности.

3.1. Взглянем на отличительные черты последней научно-технической революции под намеченным углом зрения. Вернемся для этого вновь к понятию информации, к появлению и утверждению современного значения этого понятия как родового для всех видов и форм объективированных идеальных значений. То, что в глазах представителей предыдущих поколений людей принадлежало широкому разнообразию форм человеческой деятельности и было речью, письменностью, печатью, чертежом, проектом, живописью, фотографией и т.п., для современного человека стало просто информацией. Для того, чтобы последнее стало возможным, необходимо было появиться целому ряду

новых научно-технических дисциплин, так или иначе разрабатывавших понятие «информация вообще» – теории связи и теории информации, информатики, кибернетики, семиотики и т.д. Должны были возникнуть новые виды технической деятельности и технических средств, способных собирать, обрабатывать, передавать эту «информацию вообще», новые универсальные «языковые» средства, способные выражать содержание «информации вообще». Новые универсальные материальные «носители», способные эту «информацию вообще» запечатлеть и т.д. и т.п. Если выразить одним словом суть всех произошедших изменений, то, наверное, это будет слово «универсализация». Такая универсализация в свою очередь была бы невозможной без превращения неравномерного, локально-самостоятельного хода развития каждого из относительно самостоятельных прежде видов и форм деятельности с объективированными идеальными значениями в системно-координированный, единый процесс развития информационной деятельности как их родовой сущности и формы. Это, в частности, означает свободный перенос тех или иных достижений (организационных, технологических, производственных и т.п. инноваций) из каждого, прежде обособленного, вида инфодеятельности во все другие. По сути дела, все современные информационные технологии и обеспечивающие их технические средства – это дети такого переноса и гибридизации (электронная почта, радиотелефон, спутниковые телекоммуникации и т.п.). Другими словами, перед нами процесс технико-технологической интеграции.⁵

3.2. Процесс перехода инфодеятельности на новую ступень социотехнического развития, становление ее в качестве своеобразной сферы деятельности по аналогии с процессом *индустриализации* получил название *информатизации*. Но это, очевидно, не только аналогия. Появление крупного машинного производства изменило характер, формы, организацию и масштабы всего народного хозяйства, так или иначе захватило все виды промышленного и сельскохозяйственного производства, изменило социально-классовую и профессиональную структуру общественного организма. Фактически, такой же процесс происходит и на наших глазах. Достаточно лишь упомянуть профессионально-демографические оценки структуры занятости населения в экономически развитых странах. При всей их приблизительности и относительности порядок изменений говорит сам за себя: в Японии 27% рабочей силы занято информационной деятельностью, а в США якобы 48-60% (Лаврухин 1989). Уже в начале 90-х гг. мировое потребление информационных технологий составило по-

⁵ Существуют и другие формы и способы описания этих процессов. Так, Г.Поппель и Б.Голдштейн (Информационная технология... 1990) представляют процесс информатизации общества как результат системного взаимодействия пяти основных «информационных тенденций»: производства информационного продукта, способности к взаимодействию, ликвидации промежуточных звеньев, глобализации, конвергенции. Несмотря на иной язык (работа посвящена экономическим перспективам новых технологий), сам характер выделяемых тенденций и, тем более, их общая устремленность явно указывают направленность процесса в целом – универсализация и универсумализация (способность к взаимодействию, ликвидация промежуточных звеньев, глобализация, конвергенция) качественно специфической «информационной деятельности».

рядка двух триллионов долларов, причем половина из них – доля США.

В определенном смысле информатизация не только процесс, подобный индустриализации, но и процесс, опирающийся на нее как на свою собственную предпосылку. Поэтому ее называют иногда *информационной индустриализацией*. Если с этой точки зрения взглянуть на пять «информационных тенденций» Г.Поппеля и Б.Голдстейна, то они в своей основе могут быть отнесены (но, конечно, уже по отношению не к информационному, а к производственному продукту) и к процессу индустриализации. И связано это, на наш взгляд, с тем, что подобного рода тенденции отражают специфические черты не столько информатизации самой по себе, сколько становление новой сферы деятельности. Индустриализация с этой точки зрения была процессом становления «производственно-изготовительной» деятельности в качестве такой глобальной сферы на базе ремесленно-мануфактурных форм организации труда.

Характерно, что у социально-значимой деятельности этого уровня всегда есть своя центральная область, имманентная ей как системной целостности. По отношению к ней образование соответствующей сферы деятельности представляет собой своего рода рациональное обобщение и распространение присущих такой области форм организации (в том числе технико-технологической) на все многообразие типологически идентичных видов деятельности. Для процесса индустриализации такой областью стало машиностроение как отрасль промышленного производства, а для информатизации – область расчетно-вычислительных операций. Им соответствуют и базовые технологии с реализующими их техническими средствами, ставшими своеобразными символами: *механическая машина* (машина-двигатель + рабочая машина) и *компьютер*. В конечном счете, если индустриализация по своей интенции есть уподобление всех сфер общественного производства промышленному, прежде всего машиностроительному, производству, то информатизация – их уподобление вычислительному центру. Речь идет, конечно, не о конкретной реализации, а стоящих за ними «принципах действия» – о механизации предметно-практической и интеллектуальной деятельности.

Там, где есть центр, есть и периферия. Если центральная область – область своего рода технологической пассионарности (активности) – выступает в роли ведущего, преобразующего начала, то периферия – начало ведомое, преобразуемое (пассивное). Конечно, это противопоставление справедливо только в первом приближении, и любое распространение «новой» технологии не механический процесс. Реальная картина такого распространения намного сложнее и напоминает скорее интерференционную картину, построенную в соответствии с «принципом Гюйгенса», когда любая точка среды, до которой дошел фронт инновационной волны, сама становится новым источником вторичной инновационной волны. Но нас сейчас интересует другое – реальные ограничения (границы), имманентно присущие такого рода глобальным социотехническим процессам. Скажем, процесс индустриализации был наиболее успешным в промышленном производстве (массовом поточном производстве) и в гораздо меньшей степени в сельскохозяйственном. Он изменил характер физи-

ческого труда и практически не коснулся труда интеллектуального, творческого и т.п. С чем же связана селективность такого процесса?

Вполне очевидно, что среди великого множества реальных ограничений у подобного процесса есть ограничения, так сказать, конкретно-исторические, которые рано или поздно оказываются снятыми, и органические, сущностные. Так, теперь довольно ясно, что индустриально-социалистическая идея превратить весь народно-хозяйственный организм в одну единую «фабрику» была утопией, а насильственное проведение ее в жизнь привело нашу (и не только нашу) страну на грань социально-экономической катастрофы.

Инфодейтельность с системно-структурной точки зрения представляет собой многоуровневое гетерархическое образование, где каждый из уровней обладает еще и своей качественной определенностью и свойственными только ему онтологическими (т.е. самоопределяемыми) и операциональными характеристиками. Поэтому каждый из них (кроме общих всем – родовых) имеет и свои собственные ограничения. К ним относятся, например, практические пределы варьирования таких технико-технологических характеристик как скорость и мощность компьютеров, объемы их памяти, плотность и долговременность хранения информации на тех или иных носителях, и т.п. Наиболее важными социотехническими ограничениями можно считать два из них.

Первое связано с тем, что реальным центром информатизации (поскольку все это происходит не в мире «чистых» платоновских идей) является не инфодейтельность вообще, а вполне определенный вид этой деятельности (расчетно-вычислительный). Поэтому, чем больше точек расхождения, конституциональных различий, между ведущей, центральной областью деятельности и другими видами инфодейтельности, тем менее эффективным будет такое уподобление одного вида деятельности другому.

Второе обусловлено взаимодействием самих сфер, поскольку каждая из них образует не субстанциональное, а функциональное единство. Другими словами, разные виды и формы инфодейтельности входят в инфраструктуру иных (неинформационных) видов и форм деятельности, являются средствами достижения иных целей и должны оцениваться не сами по себе, а по схеме «цель – средство». Их развитие производно от развития и эффективности ведущих форм деятельности и регулируется по преимуществу ими же. Здесь речь уже идет не о собственно информационной, а об общественной эффективности (прежде всего экономической) с ее главным показателем «нормы затраты – прибыль». Именно поэтому главным потребителем информационных технологий и услуг (электронной информации) на Западе является не наука, источник информатизации общества (~ 3%), а бизнес (~ 86%)⁶.

⁶ Анализируя подобные данные, А.И. Черный приходит, в частности, к выводу, что «информатизация общества заключается отнюдь не в насыщении научно-информационной деятельности вычислительной техникой и особенно ПЭВМ, как утверждается в некоторых публикациях и выступлениях, а в расширяющемся использовании информации, преимущественно электронной, в качестве третьего и все более важного вида ресурсов... в производстве, кредитно-финансовой деятельности, снабжении и сбыте, управлении и других областях общественной жизни» (Черный 1990).

3.3. Наряду с несомненным сходством с индустриализацией и даже воспроизведением в себе многих ее черт, и даже воспроизведением в себе многих черт индустриализации, процесс информатизации обладает и рядом существенных отличий, так как происходит на новом, более высоком витке социально-экономического и научно-технического развития общества. Индустриализация была, в основном, процессом стихийным и на региональном, и на общемировом уровне. Ее общая тенденция складывалась в результате непроизводительной растраты колоссальной социотехнической энергии, путем проб и ошибок. Она привела к громадным социальным и экологическим издержкам, увеличила социально-экономическое неравенство между отдельными странами, регионами и континентами, породила проблемы, не разрешенные и по сию пору. Короче говоря, она стала испытанием мирового порядка на прочность. Второго такого испытания, по общему убеждению, он не выдержит. Именно поэтому информатизация на всех ее уровнях – процесс в гораздо большей степени планируемый, опирающийся на целый корпус социотехнических программ, включающих разные формы прогноза и мониторинга.

Такие программы создаются, как известно, для регулирования процесса информатизации, направления его в русло сбалансированного общественного развития (парирования отрицательных социальных, экологических и т.п. последствий), обеспечивающего дальнейший рост качества жизни всех членов общества. Существует широкое разнообразие программ разного уровня (от международных до внутрифирменных), адресованных интегративным субъектам социально значимой деятельности разной степени общности. Все они представляют собой форму согласования интересов разных субъектов общественной жизни и координации их усилий в некотором, заранее выбранном, направлении, которое приобретает целе-ценностный характер как результат определенного консенсуса между ними. Содержание таких программ непосредственно зависит от характера общественного (государственного) устройства конкретного информатизируемого общества, способа субординации его субъектов. А корпус таких программ представляет собой программное обеспечение метатехнологии нововведений, является ее необходимым элементом и непременным условием. Таким образом, информатизация в отличие от индустриализации – процесс социотехнически программируемый.

В свою очередь, разработка таких программ нуждалась и нуждается в определенном научном обосновании, создающем для них концептуальную базу. Так, немаловажную роль в успехах информатизации США сыграла *концепция информации как стратегического ресурса экономики* (наряду с трудом и капиталом) и *программа рассекречивания государственных архивов*. Демонополизация и дерегуляция доступа к использованию этого ресурса (прежде всего доступа к научно-технической информации) стала мощным стимулом для американской экономики. Уже в довоенные годы высшая администрация США осознала, что широкое разнообразие научной информации, на основе которого может быть достигнут дальнейший прогресс, является более прочной основой национальной безопасности, нежели политика ограничений и тотальной сек-

ретности. Причем, снятие ограничений секретности с информации – это лишь одна сторона проблемы. Другая сторона – обеспечение подготовки материалов к их публикации в такой форме и по такой цене, которые бы обеспечили их широкое распространение и рациональное использование. Характерно, что научно-техническая деятельность в Японии направляется двумя государственными органами: Управлением по науке и технике и Министерством внешней торговли и промышленности. Именно в их ведении находится Японский центр научно-технической информации (управляющий национальным фондом данных). Их детищем стал общенациональный комплексный план (1972) «Информационное общество – национальная цель Японии к 2000 году», и создан специальный орган организации и управления – «Институт информационного общества».

Только институционализация метатехнологии нововведений в государственном и региональном масштабе может обеспечивать небывалый рост производства таких интеллектуальных машин как ПЭВМ в США: 200 (1975) – 20.000 (1977) – 2.800.000 (1982) – 7.000.000 (1983) – ... – 75.000.000 (1995). Здесь динамика взаимоотношений информационных потребностей и предметов потребления отражает и динамику организационно-деятельностных изменений во всех сферах и видах общественного производства. С точки зрения этой динамики информатизацию «можно определить как социально-технический процесс перестройки различных видов социально значимой деятельности и общественных структур на основе все более рационально и эффективно организуемой информационной деятельности и высокопроизводительных информационных технологий» (Никulichев 1990). Требуется лишь уточнить несколько позиций.

Выше уже говорилось, что, по сути дела, информатизация – это процесс превращения инфодеятельности в сферу деятельности. Становление новой сферы есть своего рода тектонический процесс изменения их общественной эффективности, ведущий в итоге к росту качества жизни. Недаром успешная информатизация – достояние стран с высоким уровнем жизни. И, наоборот, там где такой непосредственной связи нет, где она осуществляется «из под палки», ее успехи и перспективы оказываются сомнительными. В уже упоминавшейся «Концепции информатизации советского общества» (ВНИИСИ) было совершенно точно подмечено, что «ни в одной другой стране руководство государства не уделяло столько внимания развитию информатизации, как в нашей, и нет ни одной страны, в которой эти усилия приносили бы столь значительный эффект».

Возвышение инфодеятельности с уровня на уровень есть одновременно и ее насыщение соответствующими техническими средствами, но только с выходом на уровень сферы деятельности; оно приняло лавинообразный характер и стало информатизацией общества (а не отдельных видов и сфер деятельности). Информатизация, следовательно, – процесс интегративный, пронизывающий весь общественный организм и придающий любой информационной инновации родовую, всеобщую форму.

Здесь действует своего рода принцип доминанты, когда частная инновация, новая информационная технология, усиливает и ускоряет процесс информатизации в целом. Но интегративный характер присущ информатизации отнюдь не везде, а только там, где он становится формой манифестации **инновационной метатехнологии**, – механизма социотехнической самоорганизации, использующего креативные духовные значения, создаваемые частными общественными субъектами (субъектами общественной жизнедеятельности), для самосовершенствования интегрального субъекта общественной жизни (общества).

Вместе с тем, в самом противопоставлении информатизации как насыщения разных видов и областей общественной жизни новыми информационными технологиями и информатизации как широкого социального процесса преобразования общественной жизни как таковой есть содержание, не выявленное и не оформленное на понятийном уровне. Перед нами, по сути дела, три связанных но не тождественных процесса.

Первый из них имеет характер глобальной социотехнической *акции* и непосредственно связан с развитием инфодеятельности, выходом на новый уровень за счет разработки современных индустриально-информационных технологий (первый смысл термина информатизация).

Второй, имеет характер системной *реакции* на это развитие и заключается в преобразовании всех видов и форм социально значимой деятельности, в их развитии за счет более эффективного взаимодействия с «новой» инфодеятельностью (второй смысл термина информатизация).

Третий выступает по отношению к двум другим в качестве *интегрирующего* процесса общественного развития (в его всеобщей или регионально-государственной форме), перехода от состояния (типа) индустриального общества к состоянию информационного (постиндустриального) общества (третий смысл термина информатизация).

Для того чтобы не было интерференции разных смыслов при употреблении термина «информатизация», целесообразно оформить это различие с помощью разных терминов (понятий). С чисто терминологической точки зрения именно первый смысл явно выражен в самом термине «**информатизация**». Для именованного второго процесса имело бы смысл использовать термин «**инфоадаптация**» общества. И, наконец, для обозначения интегрального процесса их софункционирования (третий смысл термина информатизация) целесообразно употреблять термин «**информационная революция**».

Учитывая это различие, можно было бы утверждать, что основным предметным результатом процесса информатизации общества является производство и воспроизводство *информационной среды* и *информационной инфраструктуры* общества.

4.1. Всегда, сколько существует само общество, существуют и духовно-информационные потребности у его субъектов разной степени общности, те или иные формы и виды инфодеятельности и ее результатов – информацион-

ных продуктов и услуг. Все это так или иначе окружало человека от рождения до смерти, но было почтой, библиотекой, газетой, телефоном и т.д. Об инфосфере как о научном понятии речь зашла только в самое последнее время. Так или иначе этот термин появляется там, где речь заходит о процессе информатизации. С точки зрения структуры общественной жизни и общества как ее субъекта, как уже неоднократно упоминалось выше, этот процесс – процесс появления новой, информационной, сферы деятельности. Появление новой общественной реальности (сферы деятельности) означает в то же время и появление новых способов удовлетворения информационных потребностей (и как следствие самих потребностей) частных субъектов иных (неинформационных) видов социально-значимой деятельности. Возникающие на такой основе более эффективные, совершенные формы социального взаимодействия информационных и информационных видов деятельности составляют суть процесса, названного выше процессом информационной адаптации общества. Но инфодеятельность – это не первая деятельность, достигшая уровня сферы деятельности, однако ни одна из них, за исключением может быть экономической, не рассматривалась в качестве среды осуществления других видов деятельности. Очевидно, сама категоризация (в определенном аспекте) этой сферы в качестве среды связана с ее спецификой как *информационной* сферы деятельности, т.е. со спецификой *информации* как таковой, или, вернее, с ее возможностями, превращаемыми в действительность современными информационными технологиями.

Эти возможности, присущие информации как некоторой онтологической реальности, хорошо известны: практически неограниченная *репликативность*, *транспортабельность*, *конвертируемость*, *концентрируемость*, *сохраняемость* и т.п. Фактически все ограничения на информационные процессы и результаты – это ограничения со стороны ее носителя. Другими словами, для информационных продуктов и услуг не существует (в возможности) практических пространственно-временных ограничений (только «физические»). В определенном смысле, новые *информационные технологии* направлены на дальнейшее увеличение *меры идеальности* информации. На полное подчинение материального воплощения духовных значений (носителя) закономерностям их социокультурного бытия.

С другой стороны – со стороны информационной потребности – также не существует практических ограничений (только «культурно-исторические»), ибо информация – это форма существования духовных значений в процессе любого социального взаимодействия (общения), в том числе и в рамках самосознания как социокультурного феномена (общение с самим собой). Потребление духовных значений (регуляторов деятельности), в той или иной их форме, составляет родовую особенность человеческой деятельности вообще и, следовательно, каждой ее видовой определенности. Это означает существование перманентной необходимости в удовлетворении духовно-информационных потребностей субъектами социально-значимой деятельности всех ступеней общности (от индивида-личности до общества) в условиях их реальной пространствен-

но-временной локализации. Но возможность удовлетворять витальные потребности субъекта «здесь и теперь» и является сущностным свойством ареала объектов потребления как среды. Тем самым превращение инфодеятельности в сферу деятельности как цель и результат процесса информатизации общества есть социотехнический процесс производства и воспроизводства как информационной среды, так и обеспечивающей ее поддержку инфрасреды для всех субъектов общественной жизнедеятельности, – процесс, снимающий пространственно-временные ограничения на удовлетворение их духовно-информационных потребностей.

Здесь представляется необходимым еще раз, уже на новом уровне, уточнить наше представление о инфодеятельности. Традиционным способом экспликации инфодеятельности как родового понятия является объединение функционально-определенных ее типов, таких как *сбор, переработка, транспортировка* информации и т.п. Сюда же на правах типа включают и «*производство информации*». Эта – на первый взгляд невинная, а на самом деле двусмысленная – дефиниция приводит к тому, что под понятие «производство информации» начинают подводить такие виды общественного производства, как науку, искусство, образование и т.п. Во многом такое употребление понятий провоцирует и известная формула – «производство информации и знаний». В результате возникает обобщение, где на паритетных началах присутствуют, с одной стороны, научно-исследовательская, управленческая, художественная и т.п. деятельность, а с другой, например, кабельные линии связи, т.е. обобщение заведомо формальное и в общем случае малопродуктивное. При всякого рода статистических, в том числе экономических, расчетах и подсчетах трудовой занятости, производительности труда, произведенного продукта, объемов капиталовложений и т.п. на правах «информационного работника» фигурируют ученый, писатель, преподаватель, кассир, почтальон и т.п. (в частности в работах Ф.Махлупа и М.Пората). Нам такой подход представляется ошибочным.

С чисто понятийной точки зрения категория «производство» характеризует определенный уровень конкретизации категории «деятельность вообще» (т.е. деятельность – это всегда производство). Тем самым «деятельность как производство» является родовым, а не видовым понятием и в качестве такового определяет родовые черты любого вида социально-значимой деятельности. Это, в частности, означает, что сбор, переработка, транспортировка и т.д. информации – все это виды своего рода «производства», различающиеся лишь тем, что таким образом «производится» (объединение, оформление, перемещение и т.д.). И поэтому наряду с ними не может быть никакого «производства информации» как специального *вида* инфодеятельности⁷. В противном случае не избежать противоречий и неоправданного расширения объема понятий «информация», «информационная деятельность» и, как результат, отсутствия определенности у «информатики» как вида научно-технической деятельности

⁷ Ср., например: «Как правило сама информационная служба научную информацию не создает, но извлекает ее из документальных источников. То, что производит информационная служба, – это метаинформация» (Шрейдер 1976).

(науки). Такая точка зрения представляется нам более оправданной с учетом того, что наряду с метаинформацией эта служба «производит» сбор, хранение, переработку и т.п. информации.

4.2. Наиболее широко употребительными представлениями о инфосреде общества являются те, где она рассматривается или как «пространство, в котором информация как отчужденное от человека знание хранится в виде текстов, знаний и т.п.» (Миримаюва 1990), или как само достоверное, отчужденное от индивидуума, обобществленное и закрепленное на материальном носителе знание (Шаниро 1988). В таком представлении об инфосреде элиминированы все условия потребления (как потребляется) и все внимание сосредоточено на самих предметах информационной потребности общества (что потребляется). Как правило, вопрос о понятии, объединяющем в своем содержании ответ на оба таких вопроса – «что?» и «как?», – в этом случае не ставится.

Более рациональной является точка зрения, объединяющая в содержании понятия инфосреды «что и как» удовлетворяет информационные потребности общества, предметный и процессуальный аспект такого потребления. Другими словами, истолкование этого понятия как содержательного (но не структурного) эквивалента понятия сферы информационной деятельности (т.е. фиксирующего уровень, ступень ее развития), взятого по отношению к субъектам (пользователям) иных (неинформационных) видов деятельности⁸. В таком истолковании изначально заложены две особенности инфосреды, качественно отличающие ее от тех или иных видов физико-химической, биологической и т.п. сред. Во-первых ее *техногенное* происхождение как среды «искусственной», складывающейся и создаваемой для удовлетворения растущих (информационных) потребностей общества, а во-вторых, ее *активно-деятельный* характер, в силу которого информационные потребности удовлетворяются в рамках социального взаимодействия двух равно активных субъектов (информационного работника и пользователя) в процессе непосредственного и опосредованного общения (коммуникации).

В совокупности, понятия инфосреды и информационной инфрасреды, т.е. информационной индустрии в собственном смысле слова, могут быть выражены понятием «информационное хозяйство». Понятие информационного хозяйства, используемое в контексте экономического анализа процессов информатизации общества, включает весь спектр видов информационной деятельности и все множество отраслей, их обеспечивающих, занятых производством, распространением и обработкой информации, в сумме образующих межведомственный народнохозяйственный комплекс (Чирченко 1989).

⁸ Эта точка зрения выражена, например, М.В. Араповым, выделяющим три аспекта инфосреды: процессы опредмечивания (объективации) личного знания в информации и ее распределенная личное знание; систему исторически сложившихся форм коммуникации, созданную всем обществом; инфраструктуру, включающую издательства, библиотеки, информационные центры, банки

Литература

- Кацура А. В. Информатизация: выход в социальную сферу // Труды БЖИСИ, Вып. 3, 1988.
- Лаврухин А. И. «Информационное общество»: надежды и результаты информатизации // Труды ВНИИСИ, Вып. 12. М., 1989.
- Мириманова М. С. О роли компьютерной инфосреды и ее потенциальных возможностях в стимулировании креативности ученых-обществоведов // Теория и практика общественно-научной информации, №1, 1990.
- Никуличев Ю. В. Информатизация общества как макросоциальная проблема: международный опыт // Теория и практика общественно-научной информации. ИНИОН, №1, 1990.
- Новая технология и организационные структуры. М., 1990.
- Пископфель А. А., Смолян Г. Л. Инфосреда общества // Проблемы инфовзаимодействия. Новосибирск, 1993
- Поппель Г., Голдстайн Б. Информационная технология: миллионные прибыли. М., 1990.
- Черный А. И. Информационная индустрия (вместо предисловия) // Итоги науки и техники, Сер. Информатика, Т. 14, М., 1990.
- Чирченко О. Н. Информационные аспекты компьютеризации. М., 1989.
- Шатира Э. Л. От потребности в знаниях к информационному запросу // Труды ВНИИСИ, Вып. 13, 1988.
- Шрейдер Ю. А. Информационные процессы и информационная среда // НТИ, Сер. 2, №1, 1976.
- Шрейдер Ю. Л. Концепция интеллектуальных систем. М., 1988.

Научное издание

**Этнометодология: проблемы, подходы, концепции. Вып. 7.
М., 2000**

Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия
129366, Москва, ул. Космонавтов, 2

Лицензия ЛР № 020730 от 03.03.1998.

Оригинал-макет: ГЛАВ'артель

Формат 60x90 1/16 Гарнитура Times New Roman

Тираж 100 экз. Зак. 200.

Отпечатано в ГУП Облиздат
248640, Калуга, плю Старый Торг 5

